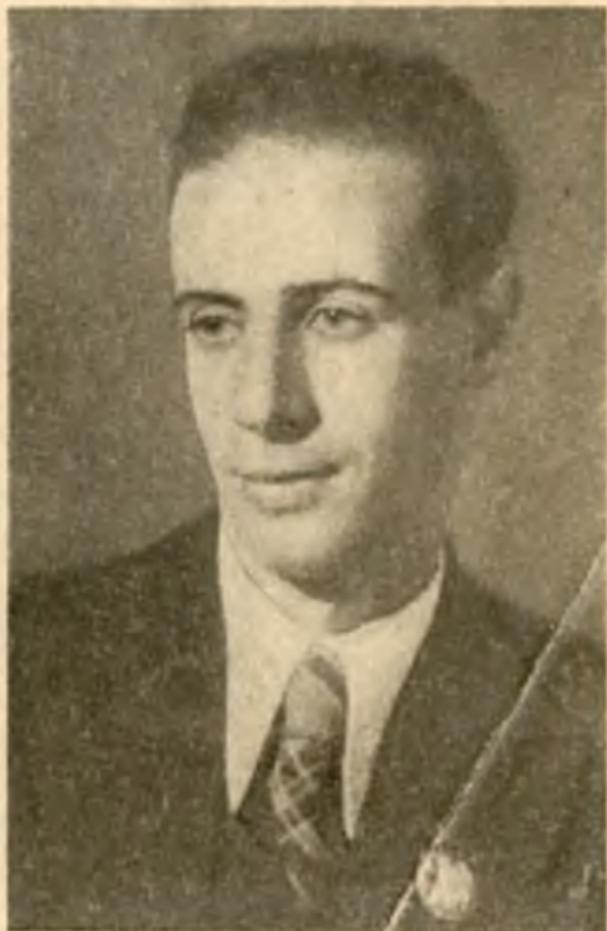


ЛЕВ КАССИЛЬ

к 28.

29970

МОСКОВСКИЕ ЗАПИСИ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 5—6

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

МОСКВА — 1942



ЛЕВ КАССИЛЬ

МОСКОВСКИЕ ЗАПИСИ

Издательство „Правда“
Москва—1942

Отв. редактор **Е. ПЕТРОВ**

Издательство «Правда»

Изд. № 73.

А 50135.

Заказ типогр. 70.

Тираж 150 000 экз.

Формат бумаги 105×148. Печ. л. 3. Зн. в 1 п. л. 40.000

Цена 40 коп.

Подписано к печати 27/II 1942 г.

Тип. газ. «Правда» имени Сталина, Москва, ул. «Правды», 24.

МОСКОВСКИЕ ЗАПИСИ

Бывает так, что достаточно толчка, резкого сдвига, встряски — и насыщенный раствор вдруг сгустеет разом, и вот, это уже не текучая масса, а цельный, отливающий безукоризненными гранями, чистый и сверкающий кристалл. Каждая молекула теперь закреплена в строгом и нерушимом соответствии с общей формой.

Так окреп, отгранил свои прекрасные черты, засверкал безукоризненным светом наш народ: содрогнулась от гнева страна, каждый человек ощутил в себе новые силы, и в ответ на нападение врага стал народ наш, как кристалл, — твердый, многогранный и единый. Каждая грань по-своему отражает жар грозных дней. Приглядитесь, и вы почувствуете сквозь лучистый блеск, какой ясный, горячий, единый поток чувств и мыслей исходит из недр этого чудесного кристалла.

Вот будничные записи, просто странички из писательского блокнота, заметки в карманной книжечке — разные грани одного кристалла.

МОСКВА, 22 ИЮНЯ

Человек малонаблюдательный, возможно, ничего бы и не заметил. Залитый после полудня июньским солнцем, город был по-воскресному нетороплив, как и утром.

По бульварам катились легкие колясочки с гражданами рождения 1940 и 1941 годов. На Пушкинской площади раскупали белые лилии, яркие тюльпаны и пионы. Несли свежую сирень. Все выглядело очень обычно. Ни сутолоки, ни спешки.

Только присмотревшись, внимательный глаз мог заметить какую-то общую сосредоточенность, наложившую свой отпечаток на всю жизнь огромного, цветущего города. Лица людей словно похорошели вдруг, тронутые простой и строгой решимостью. Да появилась еще сдержанность в жестах и словах, прямее стал взгляд, тверже походка, резче складка губ..

При всем своем неслыханном вероломстве враг, рассчитывавший захватить нас врасплох, просчитался с первой же минуты. Мы знали, что по ту сторону наших границ бушует пламя всеевропейского пожара. Все ближе и ближе к нам падали его головешки. Верные

каждой букве, каждому слову наших договоров и пактов, мы сохраняли нейтралитет и спокойствие, занятые своим трудом. Но мы знали, что может придти час, когда все международные приличия будут отброшены, все законы человеческой совести окажутся забытыми и бесстыдно обнаживший себя враг попробует сунуть свое свиное рыло в наш советский огород. День этот пришел. Нас готовили к этому дню тома Ленина. Сталин предупреждал нас, призывая народ сохранять мобилизационную готовность, чтобы никакие уловки врагов не застали нас врасплох. Ради этого дня и того, что за ним последует, мы иногда недосыпали, подчас отказывали себе во многом, учились дорожить каждой минутой своего труда, каждой народной государственной копеей, которая теперь оказалась сбереженной в оборонном рубле.

Прекрасна, как всегда, но сурова, гневна, сосредоточена была в этот день, 22 июня, Москва. И когда я смотрел на ее улицы, пролегшие между новыми, только что отстроенными или еще не сбросившими лесов домами, когда я видел, как полнится город этим надежным и грозным, могучим и умным спокойствием, я ясно представил себе, как прошел бы сейчас по этим улицам Маяковский. Он бы шагал, внимательно присматриваясь к лицам прохожих, широко оглядывая небо, где «соколы—сталь в моторном клетоте — глядят, чтоб не лезли орлы». Его мобилизующие, наизусть заученные народом строки тоже готовили нас к этому

дню, уча любить все живое, разумное, нашей страной несомое в мир, призывая ненавидеть и сокрушать все, что паучьими лапами пещерных свастик ткало душную паутину Европе.

Я представил себе в этот день на улицах Москвы высокую, сутулую фигуру человека, который глуховатым своим голосом напомнил бы нам еще раз о большом чувстве любви к родине, об обязанностях защищать ее мужественно от врагов. Забота об этом дне, о том, в какой готовности встретит его наша страна, не оставляла Алексея Максимовича до последней минуты его жизни. А всей этой жизнью, каждой своей строкой и он стремился подготовить нас к этому дню.

И вот этот день наступил — день великой ясности. Каждый знает, что ему делать, как поступить. Мы были в этот день и за городом, в окрестностях столицы, и в городе. Те, кого не звали в город внезапно возникшие дела и обязанности, остались на даче, на экскурсиях, на теплоходах канала Москва — Волга. Те, кому надо, прибыли своевременно на свои посты. Не было ни толчеи, ни перебоев в работе, в движении, в пульсе гигантского города.

К вечеру мы еще раз совершили путешествие по улицам Москвы. В кинотеатрах шли сеансы, и у касс толпилась, разбирая билеты публика. В Парке культуры и отдыха имени Горького аллеи были заполнены гуляющими. Особенно много народа было сегодня у парашютной вышки, откуда поминутно, распускаясь в

воздухе, чтобы завянуть у земли, слетали большие шолоковые выюны парашютов. Днем кое-где у магазинов образовались очереди. Обыватель из боязливых, вспомнив забытую привычку запасаться, засуетился у дверей продмагов. Интересно было послушать, как проходившие мимо сердито или насмешливо увещевали особо запасливых граждан. Я слышал сам, как недалеко от Смоленской площади этакий акуратный папаша в синей толстовке сердито распекал стоявших в очереди:

— Не совестно вам самим вашей дурасти?! Через вас только одна давка образуется и больше ничего. Уж в такой-то день надо бы поумнеть, если раньше не успели...

Мы побывали на окраинах п в центре, в магазинах, на заводах, в барах, на вокзалах. То же ощущение сосредоточенного и строгого спокойствия, очередей уже почти нигде не было. В трамваях люди были сегодня как-то особенно предупредительны: словно все стали друг другу дороже, объединенные одним глубоким, во все сердца проникшим стремлением: отбить, уничтожить врага — эту черную моровую язву Европы. На заводах, где только что искренно и гневно звучали речи на митингах, теперь так же выразительно было глубокое молчание людей, работавших с вдохновенным усердием у своих станков.

На стенках домов белели расклеенные листовки с текстом выступления по радио В. М. Молотова. Около них, негромко переговариваясь, стояли люди. такие же

строгие, спокойные и уверенные, как весь город. Над ними радиорупор не очень громко, но внятно говорил о том, как должна себя вести теперь улица, каждый дом и весь город. С неба уходили оранжевые, закатные облака. Кончался день 22 июня в Москве. Голубоватый сумрак скапливался под ветвями елей у кремлевской стены. И лицом друг к другу, неподвижные, словно сращенные с гранитом, стояли часовые в нише мавзолея. Они стояли молчаливые, сосредоточенные, непоколебимые, как стояли вчера, как будут стоять всегда.

ДНИ ВОИНЫ

Третий день отечественной войны. Идет призыв в Красную Армию.

Люди четырнадцати возрастов ждут своей почетной очереди. На сборные пункты то и дело являются граждане, у которых в билете написано «запас первой очереди». Являются представители тех категорий, которые должны придти лишь по получении мобилизационной повестки. Но им не сидится дома. Они приходят проверить, не забыли ли их.

— Вот явился к вам. Не пора?

Но их не забыли. Все идет по заведенному безукоризненному порядку. Сотрудник сборного пункта, взглянув на военный билет, возвращает его владельцу:

— Нет, товарищ, вам пришлют повестку: Тогда явитесь.

Граждане рождения 1914 года, чей первый младенческий крик был заглушен залпами немецких гаубиц у Калиша. Юноши, пришедшие в жизнь в 1918-м, в дни, когда молодая республика отбивалась от белогвардейцев и интервентов. Люди средних лет, молодые люди, юноши — сегодня они объединены одним высоким по-

мыслом, общим патристическим негодованием, одной великой гражданской любовью.

Чувство великой общности, гордое сознание выполняемого долга, ощущение в себе частицы гигантской слаженной силы. непоколебимое сознание внутренней правоты своей — вот с этим и пойдут они в бой!

Третий день войны. Уже напечатаны две кратких, точных, как слова в строю, оперативных сводки. Жизнь входит в новый, военный распорядок. Призывные облакаются в походную форму.

Ночью город облачается в защитную темень. Ни искры, ни проблеска, ни полоски света за стеклами окон, в щелях дверей. Я прошел вчера ночью через эту громаду настороженной тьмы. Только на перекрестках, над головой постового, полупригашенные, мерцали красные либо зеленые огоньки особых светофоров да укромно светились сиреневые фонари над воротами домов. Затемнив, словно прищурив фары, мчались машины.

Ночью в столице была учебная воздушная тревога. Она была проведена искусно, правдоподобно и многими принята за подлинную. Били зенитки, по небу плыли круглые облачка разрывов. То и дело принимались строчить пулеметы. Загудели заводы, раздался характерный вопль сирены. И у каждого подъезда, в каждом дворе дежурные домохозяйки, работники домоуправлений наводили порядок в своих владениях, напоминали о правилах противовоздушной обороны, ука-

зывали дорогу в бомбоубежища. На улицах было уже по-июньски светло в этот ранний час. Хорошо были видны дощечки с указателями и надписями: «Бомбоубежище», «Ход в укрытие». В Хохловском переулке 14-летние школьницы с сумками противогазов на боку несли дежурство у входа в бомбоубежище.

— Дети и женщины в первую очередь,— назидательно говорили они, искоса поглядывали на небо, где глыбли хлопья разрывов, но стойко оставались на улице, у своего поста...

Но вот провозгласили рупоры: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой!»

Так началось утро третьего дня войны.

Одни за другим катятся по улице Горького грузовики. На них, стоя, по-братски поддерживая друг друга за плечи, мчатся к вокзалам зачисленные в армию. Походная, лирическая и ласковая песенка, начатая на одной машине, подхвачена на другой:

«А всего сильнее желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвращался ты домой».

На тротуарах останавливаются, машут руками, кепками, шляпами. Долго стоят потом, глядя вслед промчавшимся. И милиционер на перекрестке, тоже, видимо, засмотревшись, не перекрывает красным светом улицу, чтобы пропустить поперечный поток машин.

Уходят эшелоны. На перроне высокая, вся подбранная и спокойная женщина провожает своего мужа-майора. Майор, коренастый, но ладный, с двумя боевыми орденами на гимнастерке, сосредоточенно улыбается и все норовит сдвинуть матросскую шапочку на нос шестилетнему сынишке.

— Ваня, я тебе помазок для бритья в отдельный кармашек положила, там, где мыло..

Она говорит об этом, потом еще о каких-то мелочах очень хозяйственно, неспеша. Привычным взглядом окидывает она фигуру командира, придирчиво поправляет портупею:

— Ну, Ваня, береги себя, пожалуйста.. Ну, я понимаю и ничего особенного не прошу. Однако ведь можно все-таки и там поберечься. А ты любишь лезть сам куда не надо.

— Мама, ты его не отговаривай лучше,— подает из-за локтя командира совет сынишка.

— А вот это уж ты, брат, лезешь в разговор, куда не надо,— усмехнувшись, останавливает его майор.

Так разговаривают они на перроне, у подножки вагона. Не первый раз провожает командира его подруга.

Уходят эшелоны. Слова прощания, песни звучат из окон. И кричат вслед проплывающим вагонам те, кто остается:

— До скорого возвращения с победой!

И, приложив руку к козырьку, кричат другие:

— Увидимся в части: туда же приписаны.

И уходят на работу, на ночные смены, или домой, где уже, может быть, лежит ожидаемая повестка. А возможно, она прибудет утром с посыльным, постучавшим в дверь.

Собирайся и иди. Это стучит родина в наши двери. Это стучит священный долг в наши сердца.

СТРАНА СВОЯ

Шел пригородный поезд. Люди ехали с работы. Садилось солнце за сосновые дачные горизонты, уже скрывшие Москву. Копны свежего сена лежали на лугах. Запах скошенной травы плыл сквозь вагон. Потом поезд прошел мимо села. Кто-то пел там песню. Девичий голос некоторое время летел за поездом, как чайка летит за кораблем, а потом отстал, затих в вечернем воздухе. Потом опять пошли луга... И небо было очень спокойное, тронутое розовым...

Девушка, сидевшая у окна вагона, прижавшись виском к раме, внезапно громко произнесла:

— Нет, нет, нет! Никогда и ни за что! И не может быть...

У нее это, видимо, вырвалось нечаянно, так как она внезапно замолкла и смутилась.

— Вы что? — осведомился ее сосед, оторвавшись от газеты.

И девушка, уже не смущаясь, сказала:

— У меня это просто вырвалось... Но знаете, вот смотрю в окошко — какая красота. Конечно, и раньше все было так же прекрасно здесь, но сейчас до того

это дорого вдруг мне стало. И они хотят отнять это у нас. Просто дышать нельзя, когда я думаю об этом. Так бы вот, кажется, набрала в грудь воздуху, а передохнула бы только, когда всех этих фашистов уничтожили бы. Вы только посмотрите, до чего красиво, земля какая, небо, лес... Красавица у нас страна!

И все в вагоне замолчали. Внимательно и долго смотрели люди из окна вагона на землю свою, на поля свои, на свой лес вдали.

ВО ДВОРЕ

Дворничиха разговаривала на нашем дворе с лифтершей. Муж, дворник, ушел куда-то спозаранок по делу и не вернулся вовремя.

— Повестки не получал,— говорила дворничиха,— пошел вроде как по-военному.

— Он у вас сроду имеет военный вид,— отвечала лифтерша,— очень аккуратно ходит.

— И как будто призвать его не должны,— продолжала дворничиха.

Они долго говорили о возрасте дворника, о разных льготах, отсрочках. Выходило, что дворнику еще не пришел черед идти. Но тут явился он сам.

— Все в порядке, мать! — закричал он еще издали.— Дело идет!

— Отпустили? — спросила дворничиха.

— Ясно, отпустили. Я уж и в конторе был: заявлял. С завтрашнего дня в ополчение ухожу. Не шути, мать, в истребительный батальон записался!

ПАМЯТКА

Воинский эшелон остановился у маленькой дачной станции. Бойцы вышли на перрон поразмяться. Небольшой, акуратный, слегка прихрамывающий старичок подошел к бойцам и вежливо, за козырек, снял кепку.

— Вот, гляди сюда,— сказал он и, нагнувшись, стал быстро заворачивать штанину на правой ноге.— Вот, кто желающий, можете пощупать. Вот она тут сидит. С четырнадцатого года. Немецкая пуля. На Украине заработал. От немца. Доктора вынуть хотели. А я воспротивился. Пусть тут сидит. Чтоб злость не проходила. Вот как вы их там порешите начисто в полный расчет, тогда уж и пойду к докторам — пусть вынимают, чтоб ни памяти, ни злости не было. Полный расчет.

ВОЙНА И МИР

Долгие годы жизнь в этой квартирке была невыносимой. Древняя жилищная вендетта, квартирная склока, истоки которой были давно уже утеряны в прошлом, превращала эту мирную на вид обитель в театр военных действий. Не дай бог, -бывало, ошибиться на один звонок и вместо двух длинных и одного короткого дать один длинный и два коротких. Тогда немедленно выходила Анна Евдокимовна и долго, наставительно вразумляла, что Марии Никаноровне звонить следует совсем по-иному. После этого дверь захлопывалась перед самым вашим носом, и вы должны были звонить снова, но уже правильно.

Недавно я снова посетил эту квартиру. Я опять заблуждался, сколько раз надо звонить Анне Евдокимовне, и позвонил так, как следовало Марии Никаноровне. Но меня ожидала совершенно невероятная встреча. Дверь открылась, и Мария Никаноровна, улыбаясь, сказала:

— Вы, вероятно, к Анне Евдокимовне? Ей надо два длинных и один короткий, но это не суть важно. Кто сейчас с этим считается! Милости просим. Входите. Анна Евдокимовна во дворе, на дежурстве. Вы подо-

ждите минуточку, я сбегая за ней и охотно подежурю пока вместо нее.

— Я вижу, что у вас тут, наконец, полный мир во время войны,— пошутил я.

— Ну, как можно? — ужаснулась Мария Никаноровна.— Какие сейчас могут быть ссоры и дразги! Мы так сошлись с Анной Евдокимовной на антифашистской и противопожарной почве. Вы знаете, мы вчера вместе с ней задушили зажигательную бомбу..

РАСПИСКА

Часть отправлялась на фронт. Колонна ее грузовиков двигалась по шоссе. Понадобилось заменить протекшую бочку с горючим. Остановились у придорожного совхоза. Директор сейчас же собственными руками выкатил откуда-то железную бочку. Водитель поблагодарил и стал писать расписку.

— Да какая там расписка, что вы, товарищ! — запротестовал директор.— Ладно, как-нибудь уж после войны сосчитаемся. Чего тут волокиту тянуть. Берите бочку — и все. Как-нибудь уж отчитаюсь.

Водитель строго посмотрел на него.

— Виноват, товарищ,— заметил он,— прошу принять расписку. По миновании надобности бочка будет вам возвращена.

— Откуда возвращена? С фронта, что ли? — усмехнулся директор.

— Там уж видно будет. Примите расписку. Знаете, как у нас говорится? Точность, срочность, дисциплина — вот победы половина. Не слышали?

Прошло две недели. И наднях вечером у ворот сов-

хозя́ остановился грузовик, замаскированный пропы-
ленными ветвями.

— Петров-директор здесь работает?—крикнул шофер.

— Здесь,— отвечал директор, подходя к машине.

— Получите новую бочку вместо принятой от вас.

Просили вам кланяться, товарищ директор. И пожалуй-
те расписочку.

Директор схватился за карман, покраснел. Он долго
выворачивал все карманы, рылся в бумажнике...

— Виноват,— пробормотал он наконец,— задевал куда-
то расписочку. Не помню, где...

— Ладно. Получите так.

Шофер снял с грузовика бочку, отковырял директо-
ру, вскочил на сиденье, и машина умчалась. Директор
смущенно глядел в ее сторону, пока она не скрылась.

— Петя!—крикнул он вдруг сыннишке.—Как это да-
веча-то военный говорил: «Точность, срочность... и эта
там — дисциплина...»

— «...вот победы половина»,—не задумываясь, продол-
жал мальчуган.



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Старый врач, работающий в одном из военных учреждений столицы, очень обиделся, когда его хотели отправить вместе со стариками в один из далеких городов. Начальник объяснил ему:

— Вы напрасно обижаетесь, Илья Михайлович. Мы просто думали, что вам следует найти более спокойную работу. На трех войнах вы уже были. Хватит. И у вас ревматизм. Расширение вен. Смотрите, вы прихрамываете. Там вам будет спокойнее, менее утомительно.

Старый доктор совсем рассердился:

— Никуда я не поеду. А относительно ревматизма позвольте вам заметить, что, как врач, убежден: лучшая гигиеническая обувь для нашего брата — это сапоги военного образца. И пока мы Гитлера не расшлепаем вконец, я лично никакие шлепанцы надевать не намерен. Ясно? Все.

БРАТЕЦ ЕЖ

По шоссе мимо дачи шли танки. Танки направлялись на фронт. Смеркалось. Вдруг большой, тяжелый танк, шедший впереди, остановился. Командир выскочил из башни и, пригнувшись, стал рассматривать что-то на дороге перед танком. Потом он присел на корточки. Перед гусеницами грозной, тяжеловесной стальной машины, сердито пофыркивая, свернувшись колючим комком, лежал большой еж. Командир протянул руку и отдернул ее: еж, содрогнувшись всей своей игольчатой броней, уколол ему руку. Из люка танка высунулся механик.

— К нему не подступись!—закричал он.—Наш брат—бронетанковая зверюга. Лесной партизан. Заберемте его, товарищ командир?

— Не надо,—отвечал командир,— пусть идет своей дорогой. Еще погибнет у нас — убьют..

Командир вскочил в машину. Гусеницы танка заверещали. Огромная машина, гремя и лязгая, бережно обошла колючего зверька. За ней послушно, отклоняясь вправо, обходя ежа, прогремели другие танки. Когда гром гусениц затих, еж высунул свою курносую мордочку, повертел рыльцем, принюхался и, стуча коготками по гудрону, пошел восвояси.

ПРОФЕССОР

Во время очередного налета на Москву один из немецких бомбардировщиков, как всегда, бесцельно, с тупой злобой швыряя куда попало свои бомбы, угодил тяжелой фугаской в сквер. Там на высоком постаменте стояла гранитная статуя. Революция воздвигла этот памятник одному из великих русских ученых. Высокий, в мантии Кембриджского университета, стоял здесь долгие годы академик, глядя на играющих около постамента детей, на задумчивые парочки, присевшие на укромные скамьи в тени аллей. Свидания так здесь и назначались: «В шесть часов на углу, у профессора».

И вот шальная бомба с фашистского самолета рванула здесь землю, расшибла жилой домик по соседству, и взрывная волна, опрокинув статую, сбросила ее с постамента. Очень огорчились люди, увидев поверженную статую. Профессора любили в городе. К нему привыкли. Как большую кровную обиду, принял каждый этот знак фашистского мракобесия: летающий громила ударил бомбой по статуе великого ученого.

Но не успели еще люди выйти после отбоя из убежищ, как в сквер прибыла аварийная команда. Прошло

лишь несколько часов, и большой кран, бережно приподняв статую профессора, снова воздвиг и утвердил ее на прежнем пьедестале. Много людей собралось в этот момент вокруг сквера. Шумно и радостно приветствовали они старого ученого, занявшего свой почетный пост на улицах Москвы. Из брандспойтов смывали известку и грязь со статуи. И кто-то из толпы вдруг бросил букетик, небольшой букетик красной гвоздики. Струя воды прибила букетик к подножью статуи. И люди, возвращаясь с работы, проходя мимо или выглядывая из окон трамваев, весело говорили:

— А профессор-то уж на своем месте.

— Ни шута! Не собьешь нас. Стоим твердо.

ТРИ ФАБЗАЙЦА

Воздушная тревога привела во двор к нам трех фабзайцев. Они вошли лесенкой: старший, средний, младший. Пальцы у них были темные, под глазами были полукружки от копоти. Они возвращались с работы, спешили и не отмылись.

— Тут, значит, и заночуем, директор? — спросил самый маленький, деловито оглядывая наш двор.

— Да, выходит, надо располагаться, — отвечал тот, кого называли директором.

— Третий день никак до дому не дойдем, — сверкнув ослепительными зубами, сказал средний.

Вскоре мы подружились с ними. Я узнал, что они действительно уже третью ночь никак не могут добраться до дому. Смена у них кончается поздно, а по дороге с завода они любопытства ради гуляют по Москве, смотрят «Окна ТАСС», а сегодня собирались в кино. Но вот оказия! Опять застучала их в дороге тревога.

Во двор вышел комендант и велел трем приятелям спуститься в бомбоубежище. Они неохотно подчинились. Спустившись в укрытие, ребята немедленно на-

шли какую-то фанеру, и так как народу было много и все места уже были заняты, то фанера эта была немедленно превращена тремя изобретателями-фабзайцами в некое подобие ложа. Крепко обняв друг друга, все три приятеля через мгновение уснули. Они проснулись в момент, когда комендант крикнул с лестницы: «Мужчины, наверх! Тушить надо...»

Все трое выскочили мгновенно во двор. Пролетевший фашистский бомбардировщик сбросил на крыши зданий и во двор десятки зажигательных бомб. Народ у нас во дворе был уже обстрелянный и тут не растерялся. Бомбы были немедленно загашены песком и водой. Но вдруг из щели в воротах небольшого гаража, который стоял около нашего дома, замерцал какой-то подозрительный свет. Оказалось, что бомба пробила крышу и проникла в гараж. Там стояли невывезенные машины и мотоциклет. А сторож гаража не явился к тревоге и не выкатил, как полагается, машины во двор.

Прежде чем кто-нибудь успел что-либо сообразить, я увидел, как директор подставил свою спину, на нее вскарабкался средний фабзаяц, а на спину среднего полез самый младший фабзайчонок. Он уцепился за переплет окна, расположенного высоко над землей в стене гаража, повис, подобрался, выбил стекло и скрылся в гараже, откуда уже шел дым, освещенный красным пламенем.

Когда через минуту ворота гаража были взломаны, мы увидели между двух автомашин, рядом с новень-

ким мотоциклом, нашего маленького фабзайца, который, яростно притоптывая, прыгал на куче песка. Огня уже нигде не было.

— Ну вот,— промолвил фабзаяц, которого дразнили директором,— здорово, Костюха! Это, пожалуй, чище, чем мы с Митькой вчера на Красной Пресне.

— А что вчера? — спросил я.

— Да нет, мы там дровяницу растаскали вовремя, пока не загорелась.

После этого трое друзей спустились снова в убежище и через минуту опять заснули на своей фанере. Едва прозвучал отбой, ребята поднялись, потерли закопченными руками сонные лица и ушли со двора. Их благодарили. Их хвалили вдогонку. Но они ушли не оборачиваясь. Вдруг во двор снова вбежал маленький фабзаяц. В воротах на некотором отдалении от него показались два его товарища.

— Дядя,— обратился маленький к коменданту,— ведь мотоциклет, который чуть было не сгорел, он ведь «Красный Октябрь»? Да? Ага! А Витька говорит: это «Харлей».

И он торжествующе поглядел на своих друзей. А потом они ушли все трое, и до нас донеслась песенка, должно быть, ими переделанная на свой лад:

«Три фабзайца, три веселых друга,— все народ надежный, боевой...»

ЧЕТВЕРО ИЗ НИХ

На снимках, которые мы потом рассматривали, они выглядели очень импозантно—эдаких четыре надменных молодца, один краше другого. Снимались они охотно: на крыле самолета, под крылом, за столиком биргалки, уставленным рядами опорожненных бутылок, потом в обнимку с какими-то, очевидно, не очень щекотливыми девицами и опять перед своим самолетом с тридцатипятикилограммовыми бомбами, которые они баюкали на руках, лихо поглядывая в аппарат.

Когда их на рассвете увидел на пригорке у деревни Запрудина Сережка Костылев, было уже достаточно светло, для того чтобы запечатлеть на снимке еще раз эту четверку. Но снимать было некому. Да и выглядели все четверо уже неважно. Весь квартет имел вид весьма пощипанный: у одного был расквашен нос; другой потерял во время прыжка шапку; у третьего все лицо было исцарапано сучьями, а четвертый—самый старший из них—и, на всякий случай, споривший со своей куртки все знаки различия и петлички, выглядел порядком помятым. Он тяжело дышал, отдува-

ясь, и потирал ушибленную в колене ногу. К тому же его мучила икота.

И так славно выпили вчера, когда отправлялись «нах Москау» — на Москву! И ночь была такая летная, и все четверо летели бомбить большевиков в самом лучшем расположении духа. Проклятая подмосковная зенитка! Как она угодила! Самолет разодрало буквально на клочья еще в воздухе! Хорошо еще, что удалось выскочить с парашютами!

Между тем Сережка Костылев, заметив на пригорке четырех неизвестно откуда взявшихся людей, заинтересовался их странными костюмами и хотел подойти поближе, чтобы лучше разглядеть. Но вдруг он испугался.. Ночью вокруг деревни грохали зенитки, все небо было в разрывах. Сережка для того и встал пораньше, чтобы насобирать побольше осколков, пока другие ребята их не подобрали. Отец, вернувшись к утру домой, сказал, что за лесом упал сбитый немецкий самолет. Сережке было очень обидно, что он не видел, как сбили немца. Но теперь.. ему пришла в голову такая догадка, что он разом спрятался за куст. «Это немцы, ей богу, немцы, — подумал Сережка, — и вид у них вовсе фашистский...» Сережа пополз прочь от куста, потом вскочил и бросился бежать в деревню.

Через несколько минут четыре, немецких летчика со сбитого «Юнкерса» были окружены. Ночью, спрыгнув на парашютах на землю, они отыскивали в лесу обломки самолета и сняли с него оружие. Квартет был воору-

жен пулеметами, а старший держал в руках автомат. Четверо стояли теперь спиной друг к другу, составив маленькое каре, пугливо и зло озираясь по сторонам. Люди подходили к ним медленно и молча. Круг постепенно смыкался. Тогда старший вскинул автомат, приткнул его прикладом к своему толстому животу и дал короткую очередь. Пули просвистали над головами колхозников. Люди остановились.

— Сдавайся, чего уж тут пугать-то!—закричал один из колхозников.— Высоко летаете, да низко садитесь. Чего пугаешь? У самого-то пузо от страху ходуном ходит, а тоже пугает! Подумаешь, какой мистер Шмидт!

В деревне не осталось ни одного человека. Пришли старики, женщины тащили за руки ребятишек, молодухи несли грудных младенцев. Пробиваясь под локтями у взрослых, вперед лезли деревенские пионеры.

Четверо стояли, озираясь во все стороны, не выпуская из рук оружия. И со всех четырех сторон, держась на известном расстоянии, приблизительно метрах в трехстах, их окружали жители деревни Запрудина. Колхозники держались очень спокойно. Правда, после выстрелов люди закипели. Фашистам грозили кулаками. Бабы кричали: «Ах ты, паскуда: мало того что куды к нам забрался, так еще угрозу нам делает!..» Потом люди опять успокоились и затихли в грозном и негодующем молчании. С сердитым любопытством смотрели люди на четырех пришельцев, которых сбросила с неба меткая подмосковная зенитка. Вот они, фашисты! Вот

четверо из тех, что полезли на нашу землю, украдкой пробираются по нашему небу, чтобы жечь, громить, убивать...

Толпа молчала и широким кольцом окружала четверых попавшихся налетчиков. Только изредка по кольцу пробегало сдержанное гудение:

— Вот и главный-то, видно: так и смотрит, кого укусить...

Самый молодой из четверых, с расквашенным носом, вдруг сделал несколько шагов вперед и вынул из сумки карту. Он потыкал пальцем в какой-то пункт и спросил:

— Калуга? Нейн?

Навстречу ему из толпы вышел Поликарп Вантесев, который считался на деревне знатоком немецкого языка, ибо был во время империалистической войны несколько месяцев в германском плену. Он собирался было что-то ответить немцу, как все зашумели:

— Не говори, не говори, Поликарп! Куда лететь, знали.

И Поликарп шагнул обратно в толпу. Четверо совещались между собой и вдруг пошли в сторону. И тотчас же двинулось вокруг них все село. Люди шли в известном отдалении, но не опускали глаз с летчиков. Четверо шли, прихрамывая, четверо брели понуро, спотыкаясь о кочки, беспомощно оглядываясь, и, окружая их на расстоянии, молча, не спуская с них глаз, попрежнему шли люди: ребятнишки, старики, взрослые

колхозники, молодухи. Так шли они, спускаясь в ложбины, подымаясь на холмы, перелезая через канавы. И в центре этого живого, молчаливого, но неумолимого кольца брели четверо фашистов. Потом четверо сели на землю. Тотчас же вокруг них присели на траву и колхозники.

— Сдавайся, что ли, уж! — крикнул осмелевший Сережка Костылев.

Но старший фашист опять вскинул автомат. И Сережка спрятался за спину Поликарпа. В это время на проселке зажужжал мотор и на газике подъехал секретарь районного комитета партии, которому послали сказать о пленных. Секретарь, плечистый и решительный, выпрыгнул из машины и пошел прямо на четверых, вынув наган и крича: «Руки вверх! Бросай оружие!»

— Ханде! Ханде!.. Ручки oben, кверху! — переводил издали Поликарп.

Старший фашист прицелился в секретаря райкома из автомата, но тот продолжал спокойно подходить к нему. За секретарем, грозно надвигаясь, зашумела вся толпа. Какой-то старичок выпалил в воздух из дробовика. Фашист выругался, бросил на землю автомат, шагнул назад и оглянулся: трое его товарищей давно уже стояли бледные, послушно поднимая руки.

Их окружили вплотную. Знаками трое из четверых показали, что им хочется пить. «Тринкен, тринкен», — пояснил своим Поликарп. Принесли воды в кружке.

Младший, с расквашенным носом, жадно потянулся губами к кружке. Но старший фашист, прикрикнув, ударил кулаком по кружке и выбил ее из-под губ пившего. То же самое произошло, когда им дали закурить. Толстый летчик опять что-то сердито прокричал, поднял руку, и трое его товарищей послушно вернули папиросы.

— Ну это, видать, шкура самая последняя, — говорили в толпе. — Гляди, как он их муштрует! Вот вредный какой! Никак не хочет начальство свое уступать. Ух, так бы и дал ему!..

Пленные угрюмо прислушивались и бросали недобрые взгляды на своего старшего. Но тупая привычка повиновения еще действовала. Они молчали.

На машине их отвезли в Москву. Через несколько часов их доставили в НКВД. Всю дорогу они молчали. Только тут, когда их вводили в здание, самый младший вдруг остановился и спросил у конвоира: «Гепеу? Чека?»

— Чека, Чека, — отвечал красноармеец.

И едва четверых ввели в комнату, где их должны были допросить, самый младший выскочил вперед и, тыча пальцем в сторону старшего, закричал, весь трясясь от возбуждения:

— Этот СС! Его первый брат! Сволочь! СС!..

Напрасно шипел что-то толстый, бросая свирепые взгляды на младшего.

Двое других облегченно закивали головами.

Ах, как непохожи были все четверо на роскошный
квартет, изображенный на карточках, которые были
рассованы у них по карманам!

Все кончилось. Квартет спел свою песенку.

ЧАСОВЩИК

Мой приятель, гражданский летчик, участник ряда полярных экспедиций, получил ответственное боевое задание. Он должен был срочно вылететь на фронт. Как на зло, за день до отлета он сильно повредил свои часы. Друг мой очень дорожил своими часами. Они сослужили ему добрую службу во многих перелетах. Прекрасные, точные часы с секундомером!

Так как до большой часовой мастерской идти было далеко, а друг мой спешил, он решил отдать свой хронометр в починку кустарю-часовщику. Крохотная мастерская уместилась в подъезде одного из больших домов. Летчик занес туда часы. Мастер взял их, открыл, вставил трубочку в глаз, придирчиво поковырялся в механизме, легонько и укоризненно присвистнул, но часы в общем похвалил, хотя и нашел, разумеется, множество изъянов, о которых мой приятель никогда и не догадывался... Мастер обещал починить часы к завтрашнему дню. Получив от моего приятеля аванс за работу, он пренебрежительно кинул деньги в стол, туда же, не глядя, он сунул часы.

Ночью бомба, нелепо брошенная фашистским само-

летом, разрушила дом, где была мастерская часовщика. Товарищ мой, узнав об этом, стукнул кулаком по столу так, что едва не разбил других часов, которые он временно надел на руку.

— Вот так история! — досадовал он. — Надо же ведь!.. Экое невезение! Пропали мои испытания. И денежки плакали. Где его теперь найдешь?!

Однако мы решили сходить на всякий случай в переулок, где вчера стоял несчастный дом. От него немного осталось. Мы походили вокруг и уже решили возвратиться домой, как вдруг глазастый приятель мой заметил на уцелевшем углу разбитого здания аккуратно наклеенную бумажку с крупной надписью: «Починка часов здесь, во дворе налево». Дальше что-то вроде «Москопромремонт...», не помню уже точно, как. Мы вошли во двор. Среди раздробленных кирпичей и битых стекол, под фанерным навесиком, прилаженным к сохранившейся стене, как ни в чем не бывало сидел наш часовщик со стеклышком в левом глазу. На остатках стены были выведены синей краской две стрелы. Под одной значилось: «Вход в укрытие». Под другой — «Починка часов здесь». На столе перед нашим часовщиком были аккуратно разложены стекла, щипчики, зубчатые колесики.

— Пожалуйста ваши часы. Готовы, — промолвил часовщик, вынимая из стола хронометр моего приятеля. — Прекрасные часы. Первоклассная фирма. Я еще вчера их исправил и поставил на проверку. Можете себе

представить, когда это грохнуло и все другие часы остановились, этим хоть бы что, идут минута в минуту. Прекрасные часы!

Он подул на стекло хронометра, вынул замшу, протер часы и на открытой ладони поднес их моему товарищу.

— Надо бы ремешок заменить? — вопросительно сказал он.

Летчик запротестовал. Некогда. Он спешит. Через полтора часа на фронт.

— На фронт?! — прокричал часовщик, вскочил и вынул стеклышко из глаза. — Что же вы мне не сказали этого вчера? Я бы еще вчера вам закончил. — Он кинулся рыться в своих ящиках, подобрал великолепный ремешок, быстро заменил им протертую кожаную браслетку. — Человек едет на фронт и молчит! — бормотал он. — А я с него беру деньги, словно у нас какое-то мирное время.

— Позвольте, сколько я вам должен? — спросил летчик.

— Какие могут быть тут деньги? Мы все вам должны. Я вас прошу получить обратно аванс, если вы не хотите меня обидеть. Человек едет на фронт, ему нужно иметь точное время, а я буду брать за это деньги! Я вас прошу... если вы не хотите меня обидеть.

Он с уважением протянул моему другу часы, сам застегнул на его руке ремешок и, не выпуская кисти летчика из своих рук, закрычал куда-то в сторону:

— Сережа! Манечка! Идите сюда... Это наш летчик. Был гражданский летчик, а теперь военный, едет на фронт. И не хочет брать деньги обратно. Я ему исправил часы, прекрасные часы. Будьте спокойны, идут точно, вас не подведут. Смотрите там на них, не теряйте ни минутки даром. Бейте их, как можете, этих бандитов, бейте каждую минуту!

ОТМЩЕНИЕ

Одну из августовских ночей я провел на аэродроме, где соединение ночных истребителей майора Рыбкина охраняет подступы к Москве от фашистских налетчиков. В ту ночь летчик этого соединения лейтенант Киселев протаранил фашистский бомбардировщик, пробиравшийся к Москве. Огонь, пожиравший обломки фашистского самолета, позволил нам найти дорогу к месту падения погибшего налетчика.

Он лежал, врезавшись покореженными моторами метра на два в землю. Кругом валялись обломки сучьев. Рядом тлели листья. Порозовевшие березки, словно в ужасе, отступили, освещенные зловещим пламенем, которое еще жило в этой мешанине из расплюснутого металла, среди раздробленных и вывихнутых частей бомбардировщика. Четыре трупа, обугленных и полусгоревших, лежали под обломками.

Рядом валялась кожаная куртка одного из пилотов. Мы вынули из кармана ее щегольской бумажник с монограммой. В бумажнике рядом с порнографическими

открытками, которые стали уже традиционной находкой в карманах убитых или пленных воздушных разбойников фашизма, мы увидели записную книжку. Перелистав ее, мы узнали, что убитый фашист — летчик опытный, опасный и безжалостный. Длинная цепь хладнокровных убийств, разрушений и погромов тянулась со страницы на страницу этой страшной карманной памятки летающего грома. Нарвик, Балканы, Варшава, Крит, Барселона, Мадрид... В книжечку была вложена раскрашенная открытка с видом Мадрида. И, глядя на эту открытку, на полуобгоревший труп воздушного волка, я вдруг вспомнил страшные минуты, которые, навсегда врубившись в память, до сих пор кошмаром живут в ней.

...В тысяча девятьсот тридцать шестом году вместе с моряками славного теплохода «Комсомолец» мы совершили рейс в Испанию. Там шла в то время гражданская война. Испанские фалангисты вместе с немецкими и итальянскими фашистами душили, топили в крови Испанскую республику. Фашисты бомбили Мадрид. Наш корабль стоял в газани Вильянуэва-дель-Грао, близ Валенсии. Нам сказали, что из Мадрида вывозят на побережье ребятнишек. Мы поехали навстречу по большой Валенсийской дороге, чтобы встретить маленьких мадридцев, детей героического города, и передать им свои подарки. У каждого из нас были припасены гостинцы для испанских ребят.

Детей ждали в большой придорожной таверне на

пути из Мадрида в Валенсию. Здесь ребята должны были отдохнуть и перекусить. Белые конусы аккуратно сложенных салфеточек стояли у приготовленных приборов, и каждый из нас положил рядом свой гостинец: шоколадку, ваньку-встаньку, маленького плюшевого медвежонка, воробья-свистульку и другие сюрпризы, купленные нашими моряками в Батуми и Одессе. Но ребята не ехали. Мы ждали их два часа. Мы ждали их четыре часа. Уж темнело. Надо было возвращаться на корабль. Ребята не ехали...

И вдруг застрекотала у дверей таверны ошалелая мотоциклетка. Вбежал запыленный человек. Куртка его была разорвана. Запекшийся рот выкрикивал что-то бессвязное. Переводчик сказал нам лишь два слова: «ниньос» и «аппарато»... И мы поняли: дети... самолеты... И мы вскочили в машины.

Через сорок минут мы были там. И то, что мы узнали там, то, что мы увидели, всегда, до последнего толчка сердца, до последней вспышки сознания, будет жечь нас и укреплять нашу ненависть.

Их вывезли в полдень, детей города Мадрида. День был солнечный, видимость была превосходная. Ребят везли в больших серебристых автобусах, на крыше которых гигантскими буквами было написано: «Дети». Едут дети. Только дети. Никого, кроме детей. Немецкие летчики на «Хейнкелях», итальянские летчики на «Капрони» и «Савойе» настигли колонну посреди дороги. Четыре раза заходили они на бреющем полете,

четыре раза пулеметным огнем и осколочными бомбами били они по серебристым автобусам, на которых было написано: «Дети. Никого кроме детей».

Когда мы примчались туда, первым, кого мы увидели, был человек в черном, с выплаканными до дна и теперь уже сухо горящими глазами... Медленно шел он по обочине шоссе, где рядами было уложено то, что осталось... Он прикалывал к маленьким трупикам бумажки с номерами для морга. 28... 29... Я видел цифру 40 и дальше уже не мог смотреть. Женщины из соседней деревни, матери других испанских детей, на коленях ползали по шоссе, бились растрепанными головами о жесткий гудрон и грозили сжатыми кулаками небу, откуда пришла на головы ребят эта бессмысленная злоба убийц. В опустевшей таверне, там, на пути к Валенсии, стыло какао и лежали рядом с салфетками ставшие ненужными наши подарки: плитки шоколада, воробьи-свистульки и плюшевые медвежата... А мы стояли на большой Валенсийской дороге и до скрипа в зубах сжимали челюсти, чтобы не закричать от ярости и боли.

...А теперь я смотрел на эти обгоревшие трупы, на раскрашенную открытку с видом Мадрида, вынутую из щегольского бумажника летающего убийцы. Может быть, не этот, может быть, не он убивал тогда испанских детей на большой Валенсийской дороге. А может быть, и он сам. Неважно! Во всяком случае, он был из тех, кто запятнал небо и землю Европы крючковз-

тыми паучьими лапами фашистских свастик, кто громил чудесные города, уничтожал все живое и свободное, попадавшееся ему под крестоносное крыло, кто убивал в норвежских фиордах и под испанскими пальмами. Вот где он нашел свой конец, здесь, в лесу, среди русских березок, августовской ночью, на подступах к Москве, где он хотел продолжить список своих убийств.

СРОЧНЫЙ РАЗГОВОР

Ночью я приехал в редакцию одной из больших московских газет. Мне сказали, что заказан срочный разговор с одним из прифронтовых городов. Мой друг, журналист, уехавший в Действующую армию военным корреспондентом, будет передавать по телефону свои материалы. Мне хотелось перекинуться словечком с товарищем, которого я давно не видел.

Разговор нам дали без четверти час. А в половине первого в Москве была объявлена воздушная тревога. Все свободные от работы сотрудники ушли в бомбоубежище, а я остался в тихой комнате, где стены были обиты мягким и плотная синяя штора закрывала большое окно на улицу. Здесь работали стенографистки, принимающие материал по телефонам. Дежурила старшая стенографистка, всеми нами любимая престарелая Мария Евлампиевна. Собственно, дежурство ее уже давно кончилось, но она попросила оставить ее здесь, ибо пора объяснить, что Мария Евлампиевна — мать моего фронтового друга, корреспондента.

В последнюю неделю по редакции ходили тревожные слухи о том, что друг мой был тяжело контужен и попал в госпиталь. Так сообщал нам один из вернувшихся с фронта газетчиков. Но слухи эти были опровергнуты без четверти час, когда в наушниках, которые надела себе на седую голову Мария Евлампиевна, зазвучал бодрый, даже издали слышимый в комнате, далекий голос нашего специального корреспондента.

— Как ты себя чувствуешь? — осторожно спросила Мария Евлампиевна.

— Отлично. Здоров, здоровехонек, — донеслось из трубки.

— С тобой ничего не было? — попыталась мать.

— Со мной? Абсолютно ничего! — кричал оттуда, с фронта, сын. — Вообще хватит об этом. Принимай очерк, мама! Заголовок — «Подвиг капитана Петрова». Абзац. Начинаю.

Перо стенографистки быстро забегало по разлинованным столбикам тетради. Между тем залпы зенитных орудий, отбивающих налет, становились все громче. Бил уже зенитки где-то совсем по соседству. Здание редакции сотрясало.

— Андрюша! — кричала в микрофон Мария Евлампиевна. — Тебя чуточку неважно слышно сегодня. Говори громче. Как последняя фраза?

— Я и так громко... И тебя прекрасно слышно, — звучало в трубке. — Итак, продолжаю: «Соединение капитана Иванова, получив это сложное боевое зада-

не, несмотря на труднейшие условия, продолжало смело действовать...»

В комнату вошел комендант здания с противогазом через плечо и сказал:

— Объект объявлен в непосредственной опасности. Прекращайте разговор и спускайтесь в убежище.

— Что? — переспросила стенографистка, высвобождая одно ухо из-под чашечки телефона. — Да нет, нет, Андриюшенька! — закричала она опять в микрофон. — Это я не тебе. Давай дальше. Ты сказал: «...продолжало смело действовать...» Так, так, написала...

Раздирающий уши, рвущий воздух удар прогремел на улице. Синюю штору в нашей комнате с чудовищной силой вдую внутрь вместе с обломками стекол. Градом посыпались, замолотили по асфальту вырванные из соседнего дома кирпичи. Перекинутая через улицу огромная стальная балка со звоном ударила в наш подоконник. Бомба упала в дом напротив. Взрывная волна сбросила Марию Евлампиевну со стула, сорвала с головы наушники. Но она быстро надела их снова на уши, маленькая, седая, взобралась на стул с ногами, как всегда не достающими до полу, стряхнула с себя осколки оконного стекла, высосала кровь из порезанной руки. И я услышал, когда уши мои снова приобрели возможность слышать, ее невозмутимый, звонкий, приученный к разговору на далекие расстояния голос:

— Слушаю, Андриюшенька... Ты остановился на «от-

важный поступок капитана Иванова ошеломил врага!..»

— А что это у вас за шум был? — услышал я голос моего друга.

— Шум?.. — растерянно оборачиваясь ко мне, забормотала Мария Евлампиевна, приложив палец к губам. — Никакого шума. Ах да... Это, вероятно, ты слышал... у меня упали очки.

Очки Марии Евлампиевны, зацепившись оглоблей, качались на шкафу, стоявшем в противоположном углу комнаты. Я принес их Марии Евлампиевне, она коротко и благодарно кивнула и продолжала записывать очерк своего сына. Когда очерк был продиктован, я попросил наушники, чтоб поговорить с приятелем.

— Только ни слова об этом, — предупредила меня шопотом Мария Евлампиевна, указывая на засыпанную осколками стекла пол, разгромленную комнату. — А то вы его знаете, будет за меня беспокоиться.

— Здравствуй, Андрей. Как живешь, дружище? — крикнул я в микрофон. — Тут про тебя разные страсти передавали.

— Слушай, — сказал Андрей, — там второй трубки нет, мама не слышит. Я, пожимаясь, из госпиталю говорю. Меня тут легонько примяло. Ну, это ерунда. Ты только, пожалуйста, матери не вздумай наядебничать. Ты ведь знаешь ее, какая она у меня трусиха.

— Еще бы не знать, — сказал я, — невероятная трусиха. Вся в тебя...



ТОТ САМЫЙ

В самом центре Москвы, на одной из прекраснейших ее площадей, неужелюбе растопырив помятые, полуоторванные крылья, брюхом на каких-то ящиках лежал немецкий самолет «Юнкерс-88».

Его сбили наши зенитчики недалеко от Москвы, когда фашист собирается напасть на столицу. Целые дни, со всех сторон напирая на канат, огораживающий обезвреженный бомбардировщик, толпились люди. Они смотрели на развороченный снарядом мотор самолета и в недобром молчании разглядывали свастику на помятом хвосте, черно-желтые кресты на длинном и тощем фюзеляже. Немецкий самолет, выкрашенный в грязно-зеленый цвет, с вытянутым туловищем, словно вымазанным в болотной тине, казался липким и вызывал почти физическое ощущение гадливости в зрителях.

Желающих посмотреть поближе и ознакомиться с устройством немецкого бомбардировщика группами, по очереди, водили к самой разбитой машине. Человек с голубыми петличками давал подробные объяснения и отвечал на бесчисленные вопросы. Ему охотно помогали милиционеры, следившие за порядком на площади. Они

уже наизусть запомнили все сведения о сбитом фашисте и охотно делились ими со зрителями.

Вдруг, нагнувшись под канатом и разом строго выпрямившись, к самолету твердым и непреклонным шагом приблизилась высокая женщина. Она вела за руку худенького мальчика лет двенадцати. Они подошли вплотную к «Юнкерсу», и мальчик, вытянув вперед правую руку, высвободив из руки матери левую, стал медленно ощупывать туловище бомбардировщика.

— Мальчик, мальчик, — сказал милиционер, — эдак все руками начнут, так дела не будет. Ты глазами смотри, а руки тут ни к чему.

— Я не могу глазами, — тихо сказал мальчик.

И милиционер замолчал, заглянув в бледное лицо мальчика. Большие открытые и остановившиеся глаза мальчика смотрели куда-то вверх говорившего.

— Он не видит, — сказала женщина. — Вот такой... — она зло мотнула головой в сторону самолета: — Летал вот такой над нашей местностью. А мы по дороге шли. До лесочка добежать не успели, он, дьявол, настиг да и ударил бомбой в землю около нас. Нас и брякнуло оземь, так вот ему зрение повредило. Глаза-то с виду целые, а не видит. Доктор говорил, мозговое ослепление какое-то. Вот привезла в Москву, может, операцию сделают.

Она с яростным отвращением смотрела на самолет:

— И ведь видел, за кем охотился, поганый! Уж ребят-то бомбой стрелять — это самое подлое дело.

Мальчик продолжал водить рукой по самолету, стараясь дотянуться до верха. Милиционер порывисто нагнулся и приподнял мальчугана:

— Вот, гляди... То есть, это самое, пощупай, значит, — сказал милиционер. — Тут это у них пулеметчик сидит. А который бомбы бросает, он вот здесь помещается, давай сюда руку. Погля? Это у них называется «Юнкерс-88». Пикирующий бомбардировщик это: Он, когда бомбит, сверху прямо вниз...:

— Я знаю, — проговорил мальчик, — это я еще видел, когда он тогда на нас...

Милиционер смущенно замолчал.

— Ну это его, значит, и сбили, чтобы он больше не безобразничал, — строго пояснил он.

— А это тот самый разве? — спросил мальчик.

— Конечно, тот самый! — и милиционер сделал какой-то знак женщине. — Ясно, тот самый. Ну, вот мы его обкорнали, он уж летать больше не будет. Прикончили его! Понятно? Вот тебе доктора в Москве глаза починят. Это уже непременно. У нас тут, знаешь, профессора какие есть?! У них сразу прозреешь. А уж этому гаду больше не разбойничать! Мы и другим ихним таким бандитам крылья обкорнаем!

— А это правда тот самый? — доверчиво держась за плечо милиционера, спросил мальчик.

И люди, обступившие их со всех сторон, с большою смирением в лицо худенького мальчика, тихо отвечали:

— Тот самый... Тот самый...

«КУЛЬТУРНЕНЬКО»

В клубе, где я руководил литературным кружком, работал веселый пожилой и профессионально болтливый парикмахер. Днем он работал как брадобрей и цирюльник в маленькой комнатке около гардероба, а вечерами подвизался в качестве примера клубного драматического кружка. Он был художником своего дела, и в клубе его любили за веселую болтовню, умелые руки и ходовые словечки, которыми он любил щеголять во время работы.

— Вот я вам сейчас брнетный паричек — злодей с прямым пробором. Это вам будет вполне по ходу действия. Как раз дает вам характер. Так вот взгляните в зеркало, видите, как культурненько получилось.

Брея, он приговаривал:

— Ну как, идет? Пластично? Беспокойство не ощущаете? Сейчас я вам височки оформлю — и все будет культурненько.

«Культурненько» было его любимым выражением.

В начале июля я посетил его перед занятием кружка. Мастер брил меня очень тщательно, и вид у него был еще более значительным, чем всегда, но говорил

он меньше обычного. Движения его бритвы были на этот раз, я бы сказал, пролиقновенны. Потом он уверял меня, что необходимо подровняться. Он яростно мыл мне голову. Ножницы его летали по моим волосам с такой быстротой, что казалось, будто целая стая их звилась над моей головой. Потом он сложил оружие, тщательно вытер ножницы, бритву и сорвал с меня простыню.

— Занавес, — сказал он с широким жестом, — прошу! Надеюсь побрить вас еще раз у себя после войны. А сейчас побреюсь сам, чтобы было культурненько. И ухожу. Счастливого оставаться. Ополченец я. Через час ухожу. Вы мой последний клиент.

Недавно воздушная тревога застала меня на проселке неподалеку от большого шоссе, которое соединяет столицу с фронтом. Ночь была темная. Но горизонт уже попыхивал. Там раскуривался заградительный огонь. И толстый луч сильного прожектора, поднявшись из-за горизонта, ходил по небу, как ходит стрелка по циферблату прибора.

Не обращая внимания на тревогу, по шоссе мчались грузовые машины, шли танки, погромыхивали за гусеничными тягачами орудия. И вдруг на проселке, где мы остановились, я услышал голос, кого-то очень мне напоминавший:

— Спокойненько, спокойненько... Давайте сюда эту веточку. Сзади там подровняйте. Так! А с боков да-

вайте оформим под кустик. Пластичней, пластичней!.. Вот теперь вполне культурненько.

Сомневаться не приходилось. Я сделал несколько шагов в темноте и оказался рядом с каким-то высоким фургоном. Около него суетился наш клубный брадобрей, в пилотке, сдвинутой на затылок. Под его руководством бойцы маскировали машины. Парикмахер наш прилаживал своему автофургону еловые ветви, бегал с каким-то ведром, макая туда кисть, и в темноте ухитрялся наводить на кузове машины замысловатые вензеля и вавилоны. Я подошел к нему, и он тотчас узнал меня, несмотря на темноту.

О, вот где свиделись! — обрадовался он. — Я уже третий раз на фронт еду. Как живете? Тревожки не очень беспокоят? Видите, камуфлирую машинку. Отчасти по моей примерной специальности. Смотрите, как культурненько получается. Ну, будьте здоровы. Имейте доверие: постараемся и там, в Действующей, специальность нашу проязить. Ох, постараюсь я Гитлеру его чубчик обкорнать, желательно с головой начисто...

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Нас пригласили в один из московских госпиталей. Раненые бойцы просили устроить им вечер Маяковского. Проехали чтецы и кое-кто из писателей, близко знавших жизнь поэта.

С некоторым чувством неловкости, неизбежным у здорового человека, попавшего в среду людей страдающих, с благодарным уважением всматриваясь в лица раненых и волнуясь, мы прошли в большую палату, где к этому времени собрались наши почетные слушатели.

Люди эти только что прибыли оттуда. Шум сражений, грохочущий огонь боя недавно окружал их. Теперь вокруг них было очень тихо. Все здесь, в госпитале, казалось; напоминало им, что нужно дать отдых слуху, натруженному лязгом войны. Да и врач, распорядившийся вечером, откровенно предупредил нас:

— Вы, товарищи, учтите, разумеется, что особенно, так сказать, форсировать звук не следует. Тишина — это могучий фактор. Мы имеем дело с людьми травмированными. Нервная система больного нуждается в тишине. Я, откровенно говоря, считал вообще целесооб-

разней дать больным что-нибудь более мелодичное и успокаивающее. Но они слишком уж интенсивно настаивали. Непременно подавай им Маяковского...

Мы на цыпочках прошли к столу и сели, стараясь не греметь стульями. Один из нас сделал короткий доклад о жизни и работе Маяковского. В палате было очень тихо. Бойцы слушали так внимательно, что стоило только кому-нибудь заскрипеть койкой, как все на него оборачивалось с негодованием. Опоздавшие присаживались на край койки и осторожно складывали костыли. Чтобы не стукнуть невзначай ими, отодвигали их в сторону. В дверях застыли белые фигуры санитарок и врача. Врач строго поглядывал на лектора и бросал обеспокоенные взгляды на раненых. Заметив это, разошедшийся было докладчик разом снижал голос.

После доклада приехавший с нами артист, мастер художественного слова, — как представил его раненым врач — стал читать стихи Маяковского:

«Республика,
с тобой грозят
расправиться жестоко!
Работай так,
чтоб каждый потом вымок,
Крепите оборону,
инженер и токарь,
Крепи, шахтер,
газетчик,
врач
и химик!»

Читать ему было не легко: голос у него был просторный и никак не мог уместиться в рамках, предписанных врачом. Чтец, старательно пригашая свой бас, смотрел на нас беспомощными глазами. Он кончил, ему вежливо аплодировали. Вдруг встал один из раненых, правой рукой придерживая толстый марлевый кокон, в котором томилась его левая рука.

— Я извиняюсь,— сказал раненый, помявшись немного, — но желательно, чтобы товарищ артист своим полным голосом читал. Иначе получается не такое художественное впечатление.

— Простите, товарищ, — взмолился обрадованный чтец. — Я ведь не то, что голос жалею, а, как бы вам это сказать, люди вы временно не совсем здоровые. Надо вас поберечь. Да вот и доктор ваш говорит...

Чтец смущенно кивнул на врача. Тот утвердительно качнул головой.

— Опять извиняюсь, — сказал раненый. — Только уж это, товарищ доктор, — не врача дело. Нам шепоточку не требуется. Нас шепотком не вылечишь. В нас все криком кричит, обратно туда зовет, чтобы этому гаду, немцу, полное всеуслышание наложить... Конечно, маленечко затихли мы на время, приходится нам тут лежать втихомолку... Но ведь это только на короткий срок, а потом опять пойдут дела громкие. Верно я говорю, товарищи бойцы?

— Правильно, верно! — загудела палата.

— Послушайте, больной... — начал врач.

— Я раненый, а не больной... Это так не надо, товарищ доктор... Мы сами же Маяковского выбрали, потому что его не ушами, а так все равно душевным слухом берешь. Ввиду того, что очень соответствует, как мы сейчас переживаем. Так что, товарищ артист, просьба: припустите голос маленечко, не опасайтесь.

Очень довольный и обрадованный, артист торжествующе посмотрел на врача, весело оглядел нас, выпрямился и сильным басом своим прогремел:

— Спасибо, товарищи, за понимание. Это очень дорого актеру... Вот я вам и прочту стих Маяковского, который так и называется: «Во весь голос».

ПИСЬМО КРОВНИКА

Добрый день, уважаемая Валя! Извиняюсь, что пишу Вам под таким смелым обращением. Но полного его звания по отчеству не знаю. Пишет Вам в Москву боец-минометчик Гвабуння Арсений Нестерович. Мой год рождения 1918. Вы со мной незнакомые. Но в моих жилах течет Ваша благодарная кровь, Валя, которую Вы дали из своего золотого сердца для бойцов, командиров и политработников Рабоче-Крестьянской Красной Армии, если получают ранение в боях с фашистской нечистью.

Я имел тяжелое положение от раны, и была впоследствии этого сильная слабость, опасность для жизни по случаю большой потери крови. И мне в госпитале в городе Свердловске перелили 200 кубиков крови, а потом спустя срок еще 200. Итого всего 400. И это была Ваша кровь, Валя, которая меня полностью спасла. Я стал быстрым ходом идти на поправку для новых сражений за родину. И здоровье мое теперь хорошее. За что я Вам, дорогая Валя, выражаю свою чистосердечную красноармейскую благодарность.

Я тогда в госпитале, когда назначен был на выписку, спросил, чьей принадлежности кровь мне перелили. Мне сказали, что Вашу. Сказали, что известной артистки, и сказали Вашу фамилию — Шаварова. Еще сказали, что Ваш личный брат тоже бьется на нашем фронте. Я хотел после пойти в театр, посмотреть пьесу при Вашем исполнении, да Вы уехали. И по этой причине мне не довелось Вас увидеть лично.

После того как я побыл на полном излечении, снова вернулся теперь по обратному направлению в свою родную часть, которой командует майор товарищ Вострецов. И вместе с моими товарищами по минометному подразделению мы глушим своим огнем кровавых фашистов и не даем им свободно вздохнуть и поднять голову над нашей советской землей.

Я Вам пишу письмо по той причине, что хочу — первый номер: выразить Вам упомянутую благодарность, а второй номер — это высказать Вам про один случай, проще говоря, боевой эпизод, каковой я хочу описать Вам в нижеследующих строках.

Вчерашний день, к вечеру, мы получили приказ и готовились к боевым действиям. Незадолго до наступления обозначенного времени бойцы слышали радио из столицы нашей — Москвы. И по радио сказали, что стихотворное сочинение одного автора прочитает артистка Валентина Шаварова, т. е. Вы. Вы читали с сильным выражением и очень разборчиво. Мы все так слушали со вниманием, что даже не думали в тот час об

опасности плн, возможно, даже полном исходе для жизни, которые нас ждали в скором бою. Может быть, так и не полагается, но, я не скрою: я открыл своим товарищам бойцам, что эта известная артистка, которую сейчас было слышно из Москвы, одолжила мне без отдачи свою кровь для спасения. Но не все поверили. Некоторые полагали, что это я немножко заливаю, будто известная артистка дала мне кровь. Но я знал, что не вру.

Когда кончилась передача из Москвы, вскоре мы пошли в бой, и, хотя огонь был слишком густой, я все слышал Ваш голос у себя в ушах.

Бой был очень трудный. Ну это долго описывать. В общем, остался я сам один у своего миномета большого калибра и решаю, что живой я фашистам не достанусь. Конечно, мне немножко повредило палец осколком, но я все веду огонь и не бросаю боевого рубежа. Тут меня начинают обходить. Кругом меня осколки так и чиркают, так и заливаются. Треск стоит ужасный, до невозможности. Вдруг подползает ко мне с тылу незнакомый боец и замечаю: у него нет при себе винтовки. Он отбилсЯ от другой части и, как видно, что чересчур перепуганный. Я его стал уговаривать, ну, всякие подходящие, толковые слова ему высказываю. Сейчас, мол, мы вдвоем миномет уташим, чтоб немцам не достался. Но он хотел все бросить и спастись. У меня всякие подходящие слова к концу подошли, и я его, признаться, стал уже немножко, извн-

няюсь, обзывать. «Слушай,— это я ему говорю,— нельзя быть таким шкурным трусом, овечья твоя душа, бараний ты сын, как твоя фамилия?..» Он уже еле губами со страху шевелит, а кругом стрельба стоит такая, что буквально оглушает. Но все-таки услышал я его фамилию: «Мое, говорит, фамилие — Шаваров». — «Стой, говорю, сестра у тебя в Москве имеется?» Он только головой кивнул. Хотел я его еще подробно, досконально выпросить, но тут на нас из-за леска немцы наступление повели. И бросился мой Шаваров бежать куда-то... И обидно мне тут стало и страшно за него. Ведь я все время помнил, что у Вас брат на нашем фронте бьется. Так как-то сразу меня прохватило. «Это,— думаю,— непременно ее брат...»

А он, дурной, бежит, понимаете, бежит, Валя, и прямо наскочил-таки на засаду. Словно из-под земли скакнули наперехват замаскировавшиеся там немцы и тащат его, как барана... Они хотели его взять живьем, а я думаю: он со страху там такое нараскажет, что повредит этим всему нашему делу на данном участке обороны. Да и выскочили немцы на хорошо пристреленное мною местечко. Как, думаю, шарахнуть в них моим большим калибром, так сырое место от всех останется. Но, конечно, опасаюсь, что большой нечаянный шанс, жизни лишит и брата моей Вали Шаваровой...

Тут я Вам, Валя, должен вот что прояснить. Я, Валя, являюсь полным сиротой. Родился у нас в Гудаутах, а рос в детском доме в Краснодаре, где и полу-

чил образование в объеме неполной средней школы. Но родни у меня нет абсолютно никакой. И когда я был призван в Красную Армию и участвовал в боях против фашистов, то я часто задавался такой мыслью, что за меня некому даже побеспокоиться. Другим моим товарищам по минометному подразделению писали различные родные, которые болели за них душой в глубоком тылу. А мне даже и писать было некому. А вот теперь я так считал, что у меня есть уже кровная родня. Это Вы, Валя. Конечно, Вы меня не знаете, но теперь, прочтя это письмо, будете знать, а для меня самого Вы на всю жизнь останетесь, как родная...

Потом я еще хочу написать, что Вы, наверное, слышали про обычай кровной мести, который имелся у нас в Абхазии. Кровью за кровь мстило одно семейство другому, и если один зарезал кого в другой семье, то эта семья должна была резаться, кто убил, и отца его, и сына, и внука даже, по возможности. Так и резались друг с дружкой целую вечность. Где бы ни встретил кровника — мстить надо, резать надо, нельзя простить. Вот у нас такой был глупый закон.

Теперь же возьмем мое положение. Я Вам, Валя, кровью обязан. Если можно так выразиться, то мы с Вами получаемся, как кровники, но только совсем в ином смысле. И где бы я ни встретил Вас, отца Вашего, брата, сына, — все равно я должен такому человеку помочь добрым делом, оказать полное содействие, надо будет — жизнь свою бросить.

И вот тут получается такое обстоятельство: немцы передо мной на открытом месте, на пристреленном квадрате, я, по долгу воинской службы, должен ударить по ним с миномета, но среди них — Ваш брат, кровник мой. А ждать больше уже ни момента нельзя: скроются фашисты или обойдут нас. Но открывать огонь я не в своих силах. Тут вижу я: один из немцев замахнулся автоматом на захваченного, а тот упал на колени, ползает, за ноги их поганые хватается да еще в нашу сторону указывает, где минометы стоят. Аж зажмурился я от стыда... Толкнула меня кровь в голову, налились у меня кулаки и пересохло во мне сердце. «Не может быть, — говорю я себе, — не может быть такого брата у вас. А если есть такой, пускай не будет его, не должно быть такого, чтоб не позорил он воинскую честь и кровь нашу...» И открыл я глаза для точного прицела, и ударил я с миномета по пригорку большим калибром...

А после окончания боевой операции хотел я пойти посмотреть на тот пригорок, да все не было во мне решительности, страшился взглянуть. Тут пришли санитары, стали подбирать. И вдруг слышу, говорят: «Смотри-ка ты, это Хабаров лежит.. Вон куда забсжал. Ну, и трус был — попал один такой на всю третью роту».

Тут я решился, подошел, переспросил для окончательного выяснения личности, и оказывается, фамилия-то этого — Хабаров, на самом деле, чтоб тебе не ро-

диться!.. А я не расслышал тогда или просто мне почудилось в бою, и создается во мне такое жуткое впечатление. И я решил об нем написать Вам. Может, и у Вас будет желание написать мне ответ, то адрес на конверте.

А в случае, если пришлют Вам вдруг похоронную обо мне, то, прошу, не удивляйтесь, почему: это я в своем документе обозначил теперь Ваш адресок для сообщения. Больше адресов у меня нет никаких, кроме Вашего, кровинка Вы моя... И тогда, если придет к Вам такое извещение, примите повестку. Не слышал я, берут ли расчет слезе человеческой, подобно крови, на кубические сантиметры. Или нет ей никакой меры... Один кубик слез все-таки уроните тогда, Валя, за меня, а больше не стоит. Хватит.

На этом кончаю, извиняюсь за грязный почерк, из-за боевой обстановки. Еще раз чистосердечное спасибо Вам. Можете быть спокойны, Валя, драться буду с врагами окончательно, до последней одной капли крови. Остаюсь боец-минометчик Арсен Гвабуния.

Действующая армия».

СЫН ТЕТИ ПАШИ

В издательстве у нас всем было известно, что сын нашей уборщицы тети Паши, пулеметчик Василий Суховеев, пропал без вести. Давно не было писем от него. Старуха совсем извелась от беспокойства. Все очень жалели тетью Пашу и как могли обнадеживали ее. Найдется, мол, твой Василий, будет случай — и подаст о себе весточку.

Наднях к тете Паше прибежала на работу ее племянница Нюша.

— Тетя Паша! — закричала она еще издали. — Я сейчас Васю вашего видела.

Тетя Паша медленно подняла руки к горлу и схватилась за концы платка, завязанные узлом под подбородком.

— Грех тебе смеяться, Нюшка.

— Какой тут может быть смех, тетя Паша. Что я уж вовсе дурная, что ли... Я вам дело говорю. Я сейчас видела вашего Васю в кино на дневном сеансе. С Веркой ходила.

— Это как же так в кино? — с изумлением заневодала тетя Паша. — Это что же такое!.. Что же это он к матери не явился, а сразу в театры побежал?

— Ой, ей богу, тетя Паша, — ну что вы не поймете никак! Я его в кино видела: Там картина, на фронте снятая, и он там участвует. Понятно вам это?

Когда кончилась работа, мы пошли с тетей Пашей в ближайшее кино. Шел фронтовой кино-журнал. Нам показали танковую атаку, пленных немцев, заискивающе улыбающихся перед аппаратом. Потом мы видели бомбежку немецких аэродромов нашими летчиками. И вот голос ведущего произнес за экраном:

«Боец Василий Суховеев, оказавшийся в окружении, в течение 18 дней пробивался сквозь немецкий тыл. Он вышел невредимым и не только принес в часть свой пулемет, но еще захватил автомат, отбитый им у встречного фашиста».

И мы увидели на экране храброго пулеметчика Василия Суховеева — сына нашей тети Паши. Он был снят в тот момент, когда вышел из леса, добравшись наконец до своих. Густая щетина темнила его давно не бритые щеки, но глубоко запавшие глаза смотрели с экрана упрямо, бодро и колюче. Потом мы видели его уже побритым, переодетым в чистое. Он сидел вместе со своими товарищами на пеньке и ужинал, держа на коленях походный котелок.

Когда дали свет в залу, тетя Паша тихонько спросила меня:

— Ну, как он, не сильно похудал? Я-то, дура, сквозь слезы свои и не видала ничего. Как он только из лесу-то вышел, так я и закатилась.

Она осталась на второй сеанс, чтобы еще раз, и теперь уже как следует, посмотреть на сына. Администратор, узнав, в чем дело, выдал ей пропуск на неделю вперед. И теперь, как только кончается работа, тетя Паша спешит в кино. Она высиживает по три сеанса подряд, терпеливо дожидаясь быстро мелькающих минут, когда на экране выходит из лесу, смотрит колбочими глазами в зал, улыбается Василий Суховеев, храбрый пулеметчик — ее сын. Она сидит в самом первом ряду, утирает кончиком платка глаза. Ей трудно усидеть молча, тянет поделиться своими чувствами с соседями. И, обернувшись, показывая на экран пальцем, мерцающим в сумраке зала, она тихо и застенчиво говорит:

— Сын.

РОМЕО НА ПОСТУ

У нас на дворе очень любят этого часового. Молоденький студент театрального училища, он с первых дней записался в истребительный батальон и теперь часто дежурит, охраняя в нашем доме какую-то дверь, про которую домоуправление многозначительно говорит: «Объект». Хотя известно, что складское помещение за дверью пока что пусто.

Всякий раз к концу дежурства к студенту приходит девушка с двумя косами. Она приносит две порции эскимо и одну книжку. Дежурный не имеет права отворачивать свои взоры от охраняемой им двери. Поэтому девушка читает ему вслух. И оба они такие молоденькие, такие милые и свежие — и дежурный и его девушка, — что все во дворе бывают очень довольны, когда настает черед охранять дверь студентки. Он стоит тоненький и большеглазый, в аккуратной пилотке, изпод которой выбиваются мягкие черные волосы. Он стоит, опираясь на карабин, а рядом на пороге сидит девушка и читает ему вслух. Во дворе известно, что

она учится не в театральном училище. Она, напротив, биолог. Но когда-то оба играли в самодеятельных спектаклях. Теперь они помогают друг другу готовиться к зачетным этюдам.

Раз мне пришлось дежурить по дому, в мрачную и неприглядную августовскую ночь. Я бродил по двору от подъезда к подъезду. Вдруг у знакомой двери слышалось:

— Увидев лишь, они тебя убьют...

— Увы! Глаза твои опасней мне, чем двадцать шпаг,— донесся звучный голос дежурного.— Лишь ласково взгляни, и против злобы их я защищен.

Опять ответил девичий голосок:

— Лишь бы тебя они не увидали...

— От них меня укроет ночи плащ, но еслилюбишь,— пусть меня найдут: пусть лучше смерть от ненависти их, чем жизнь, лишенная твоей любви.

Было очень темно во дворе. Я не видел говоривших. Но, прислушавшись, понял, что у нас сегодня дежурит во дворе Ромео, к которому пришла его Джульетта. Вероятно, они просто репетировали для зачета в училище одну из сцен.

Джульетта говорила в темноте:

— Прости, не думай, что ветренна уступчивость моя, которую ночь темная открыла.

— Благословенной я луной клянусь,— отвечал Ромео,— что серебром деревья обливает...

Луны над вверенным нам двором я нигде не видел.

Ночь была, как чернила. Но я был всего-навсего лишь дежурным по дому, а они—Ромео и Джульетта. Возможно, что они видели луну. Зато они не слышали сигнала воздушной тревоги. Очевидно, он их не касался. Двор наш заполнился говором, шумом шагов: жильцы спускались в убежище. Я подошел поближе к Ромео и его подруге, чтобы напомнить им о правилах поведения во время воздушной тревоги. Все, кроме дежурных, должны были немедленно уйти в убежище. Я подошел, когда они прощались.

— Я слышу в доме шум, — сказала девушка, — прощай, любимый.

Я скромно отошел, чтобы не мешать. И, отойдя, услышал:

— Иду. Монтеки, милый мой. Будь верен. Постой минутку, я сейчас вернусь..

Чорт подери! Негодники, они продолжали репетировать, они не думали прощаться.

— О, ночь благословенная,— проговорил Ромео с большой искренностью в голосе.— Боюсь, что этой ночью сон приснился мне, он слишком сладок, чтобы правдой быть.

В верхних окнах высокого нашего дома уже поблескивали отраженные в стеклах далские разрывы зениток. Нет, я должен был различить влюбленных немедленно. У Шекспира тут вмещивается кормилица. «Сударыня»,— говорит она из-за двери. И, сделав шаг вперед, я сказал в темноту:

— Сударыня.. Немедленно спускайтесь в укрытие.

— Иду сейчас! — Она зашептала торопясь:— Но если ты с нечистым сердцем, молю тебя..

— Сударыня! — повторил я реплику кормилицы, как полагалось и у Шекспира.

— Сейчас, сейчас приду!

Кажется, сцена подходила к концу. Я старался припомнить, сколько там еще строж осталось у Шекспира. Зенитки били все ближе и ближе. Совсем не театральные прожекторы бродили по небу.

— Сто раз тебе привет! — говорила Джульетта.

— Сто раз больней мне ждать, придет ли свет,— откликнулся неугомонный Ромео, стараясь перекрыть выстрелы зениток.— Вот, с книгой расставаться школьничек рад, а с милой расставаться — черный ад.

— Сто раз вам говорить, чтобы вы уходили в убежище?! — вмешался тут я, испортив всю сцену.

Кажется, они засмеялись в темноте. Потом Джульетта наша спустилась в укрытие. А мы с юным Ромео остались дежурить под черным небом, на котором загорелась запоздавшая и зловещая луна, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении осветительной ракетой.

Должен заметить, что мой Ромео за «посторонние разговоры на посту» получил три внеочередных дневальства. Не знаю только, было ли это для него достаточно суровым наказанием?

МОСКОВСКИЕ АФИШИ

Слиие шторы закрывают окна домов. Витрины упря-
таны за целыми бастилиями мешков с песком. А теат-
ральные афиши, наклеенные на стенах, делают их слов-
но прозрачными для внимательного дружелюбного
взгляда. Вот чем дышат, чем интересуются люди, жи-
вущие там, за синими шторами. «Фельдмаршал Куту-
зов», «Адмирал Нахимов». Митинг, посвященный сла-
вянским народам. Концерт. Флиер. Лист. Шопен. В во-
скресенье будет большой футбольный матч. Разыгры-
вается «Кубок Москвы». Идет новая кинохроника.
Премьера оперетты. Стоят, смеются люди у огромных
и цветастых «Окон ТАСС», где карикатуристы и поэ-
ты всыпают по первое число Гёббельсу. А на Арбате,
замедляя шаг, переходя на другую сторону, чтоб луч-
ше было видно, толпятся влюбленные в свой город
москвичи и восхищенно взвывают, как кирпич за кирпи-
чом встает, высится, растет свежая кирпичная стена на
углу взорванного фашистской бомбой театра имени
Вахтангова.

Какие благодарные зрители у каменщиков и строительных рабочих, восстанавливающих здание этого театра! Каждый прохожий желает им успехов. Театралы заглядывают сюда ежедневно, чтобы посмотреть, насколько за день поднялась стена

Наднях в одном из театров Москвы шел спектакль. Зал был переполнен. Хороший, дружный смех зрителей отвечал веселым репликам комедии. Действие пьесы происходило в Москве. Пьеса была написана до войны, веселая музыкальная пьеса о московской весне. И вот когда после антракта раздернулся занавес и зрители увидели на сцене знакомые силуэты звездных башен Кремля, пролеты Каменного моста и плещущиеся под ними струи Москвы-реки, в зале грохнула овация. Она возникла сразу. И в партере, и в ложах, и на верхнем ярусе. Аплодисменты становились все более мощными и дружными. Овация росла. Все в зале приподнялись, встали с мест... Артисты, еще не успевшие произнести ни одного слова, стояли потрясенные. Потом и они зааплодировали.

Это была овация Москве, овация гордому, мужественному и любимому городу, стойкости и жизнеупорству его. Слезы блестели на глазах у людей, а они все аплодировали и аплодировали своей Москве.

ДНО И КРЫШКА

Пришла девушка-студентка и сдала в фонд обороны Советского Союза массивный серебряный кубок. Старомодный, тяжеловесный, напоминающий предметы церковной утвари, он заинтересовал всех нас. И совсем уже странным показался этот сосуд, когда на дне его мы разглядели грубо нацарапанную надпись: «Випей то дна, полуби мена...»

Расспросили девушку, и она, нахмурившись, сперва отрывисто, а потом вся разгоревшись, рассказала нам историю этого кубка:

— Знаете, когда это было!.. Очень давно. Я тогда еще совсем маленькая была. Это у нас на Украине случилось, когда немцы там были. Папа в Красной Армии был, а у нас в хате офицер-немец остановился. Вселили его к нам. Худой такой, а усы толстые. Нескладный... Я его на всю жизнь запомнила. А мама у меня была очень красивая собой. И веселая такая. Сама могла песни складывать. Офицер и стал на нее все поглядывать. А меня нарочно по всяким делам выси-

дает, чтобы я ушла. А мама говорит: «Не ходи». Потом он стал грозиться, револьвер вынимал. Вообще это просто кошмарно вспомнить. Но мама, конечно, на него никакого внимания. Она его терпеть не могла. Противный такой... Вот однажды он пришел и принес чего-то в плаще. Развернул плащ и говорит маме: «Вот я гостиницу принес». Как сказать правильно, не знал. Это он вместо «гостинец» сказал «гостиницу». И вынул эту посудину. Наверно, в церкви где-нибудь украл. А сам говорит: «Вот вы выпейте до дна, а там на дне я сюрприз сделал...» И налил эту посудину полную вина. Приставал, приставал к маме, надоело ей, она взяла и выпила. Оказывается, на дне немец гвоздем, что ли, стихи нацарапал, сам, видимо, сочинял: «Випей то дна, полуби мена...»

И тут он стал выгонять меня из дому, а сам обнимает маму и грозит, что она от него все равно никуда не денется. Тогда мама говорит: «Ладно. Пусть будет по-вашему. Только я вам тоже сюрприз хочу сочинить...» Вышла она из горницы, зашла за печку и чего-то там гвоздем царапает. Потом вернулась, поставила на стол посудину, а в ней вина до краев. Немец усы расправил, выпил все вино, опрокинул посуду да как прочтет, что там мама ему написала, так сразу стал револьвер из кобуры тащить. Поблуднел весь, трясется. Никак отстегнуть не может, кричит: «Это что за смех? Какие тут шутки? Я вам сейчас всем...» Да вдруг осекся, за грудь схватился и повалился на ска-

мейку. Стал что-то по-немецки кричать, доктора звать. А мама схватила кубок этот, чтоб следов не оставалось, меня — на руки, и побежали мы с ней из хаты. Немец вдогонку выпалил, но пуля маму только по плечу чиркнула... А потом все-таки маму немцы поймали и загубили... А кубок этот мне на память остался. Вот теперь я его и хочу отдать в фонд обороны, чтоб немцам этим долг вернуть. Пусть хоть одна пуля, на эти деньги мои сделанная, за маму оплатит.

Девушка замолчала. И молча стояли слушавшие ее люди, принесшие деньги, облигации, часы, серебряные ложки, чтоб отдать их в фонд обороны страны.

— А что ж там такое под донышком мама ваша нацарапала? — полюбопытствовала женщина, державшая завернутый в платок серебряный канделябр.

— Там было написано так, — сказала девушка, — мама там так написала: «Пил пес до дна, а пришла псу крышка».

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ

Всю долгую октябрьскую ночь грохотал над нашей дачей заградительный огонь зениток. Осколки снарядов свистели в саду, шуршали в поредевшей листве и звонко шелкали о крышу. Когда била тяжелыми залпами соседняя батарея, через всю содрогнувшуюся дачу, обдавая нас тугим воздухом, проходил гулкий сквозняк и плотно закрытые двери распахивались настежь, едра не срываясь с петель.

Мимо, по Можайскому шоссе, к фронту, грозно приблизившемуся к нам за эту неделю, двигались в темноте грузовики, ползли танки, шла артиллерия, загорались потайные, желтые и красные, фонарики в руках невидимых регулировщиков. Молчаливый фронтовой порядок уже властвовал здесь.

Утром, умываясь во дворе, я обнаружил на дне кадки вмерзший в лед осколок снаряда. Соседи сказали нам, что недалеко от нас ночью сбиты немца. Мы отправились взглянуть на поверженного. Прямое и раздробленное крыло свалилось в кювет шоссе. Хо-

лодная блеклая трава, прибитая при ударе самолета о землю, уже привстала между остывшими, полуобгоревшими обломками. Расхаживал равнодушный часовой, чем-то напоминающий бакенщика, которого поставили сторожить тело утопленника. По шоссе, спеша на работу, шел народ к станции. Никто не останавливался у разбитого немца. Коротко, на ходу, взглянув на задранный хвост со свастики, удовлетворенно кивнув головой, люди шли своей дорогой. Дело было житейское: прилетел, вредный, и получил, что ему причиталось. Только у самого самолета столпились ребята из соседней школы и знакомый нам учитель-комсомолец, пользуясь случаем, вел наглядный урок:

— В прошлый раз мы с вами рассмотрели самолет «Хейнкель-111», — говорил он тем же голосом, каким обычно объяснял физический опыт в классе, — сегодня перед нами типичный германский бомбардировщик «Юнкерс-88», или, как его называют, «Ю-88». Это пикирующий бомбардировщик, действующий как по живым целям, так и по сооружениям. Обратите внимание на расположение уцелевшего крыла... Между прочим, это касается и Пети Сырикова, который сейчас не слушает, а во время воздушной тревоги не может отличить «Юнкерс» от самого обыкновенного «Мессершмитта».

Мы ушли, невольно ступая на носки, чтобы не мешать уроку.

УСТИН И АВГУСТИН

Маленькая, по окнам вросшая в землю изба дяди Устина была крайней с околицы. Все село как бы сползло под гору; только домик дяди Устина утвердился над кручей, глядя покривившимися тусклыми окнами на широкую асфальтовую гладь шоссе, по которому целый день из Москвы и в Москву шли машины.

Я не раз бывал в гостях у радушного и говорливого Устина Егоровича вместе с пионерами из одного подмосковного лагеря. Старик мастерил замечательные луки-самострелы. Тетива на его луках была тройной, скрученной на особый манер. При выстреле лук пел, как гитара, и стрела, окрыленная искусно прилаженными маховыми перышками синицы или жаворонка, не вихлялась в полете и точно попадала в мишень. Лук и самострел дяди Устина славились во всех окружающих лагерях пионеров. И в домике Устина Егоровича всегда было вдосталь свежих цветов, ягод, грибов — это были щедрые дары благодарных лучников.

У дяди Устина было и собственное оружие, столь же старомодное, впрочем, как и деревянные арбалеты, которые он мастерил для ребят. То была старая берданка, с которой дядя Устин выходил на ночное дежурство.

Так жил дядя Устин, ночной караульщик, и на пионерских лагерных стрельбищах звонко пели его скромную славу тугие тетивы и вонзались в бумажные мишени оперенные стрелы. Так он жил в своей маленькой избушке на кругогоре, читал третий год подряд забытую пионерами книгу о неукротимом путешественнике капитане Гатерасе сочинения французского писателя Жюль Верна, не зная ее выдранного начала и не спеша добраться до конца. А за окошком, у которого он сидел под вечер, до своего дежурства, по шоссе бежали и бежали машины.

Но этой осенью все изменилось на шоссе. Веселых экскурсантов, которые прежде под выходные дни мчались мимо дяди Устина в нарядных автобусах в сторону знаменитого поля, где когда-то французы почувствовали, что они не смогут одолеть русских,—шумных и любопытных экскурсантов сменили теперь строгие люди, в суровом молчании ехавшие с винтовками на грузовиках или смотревшие из башендвигающихся танков. На шоссе появились красноармейцы-регулирующие. Они стояли там днем и ночью, в жару, в непогоду и в стужу. Красными и желтыми флажками они показывали, куда надо ехать танкистам, а куда —

артиллеристам, и, показав направление, отдавали честь едущим на запад.

Война подбиралась все ближе, и солнце на заходе теперь медленно наливалось кровью, повисая в дымке. Дядя Устин видел, как косматые взрывы, жилища, выдирали из охавшей земли деревья с корнем. Немец изо всех сил рвался к Москве. Части Красной Армии разместились в селе и укрепились тут, чтобы не пропустить врага к большой дороге, ведущей на Москву. Дяде Устину пытались втолковать, что ему нужно уйти из села: тут будет большой бой, жестокое дело, а домик у дядюшки Размолова стоит с краю, и удар падет на него.

— Я за выслугу своих летов пенсию от государства имею, — твердил в ответ дядя Устин, — как я будучи прежде работал путевым обходчиком, а теперь, стало быть, по ночной караульной службе. И тут сбоку кирпичный завод. К тому же склады имеются. Я не в законном праве получаюсь, ежели я с места уйду. Меня государство на пенсии держало, стало быть, теперь и оно передо мной свою выслугу лет имеет.

Так и не удалось уговорить упрямого старика. Дядя Устин вернулся к себе во двор, засучил рукава выгоревшей рубашки и взялся за лопату.

— Стало быть, тут и будет моя позиция, — промолвил он.

Бойцы и сельские ополченцы всю ночь помогали дяде Устину превращать его избушку в маленькую

крепость. Увидев, как готовят противотанковые бутылки, он бросился сам собирать порожнюю посуду.

— Эх, мало я по слабости здоровья закладывал,— сокрушался он,— у людей иных под лавкой целная аптека посуды. И половинки и четвертинки...

...Бой начался на рассвете. Он сотрясал землю за соседним лесом, закрыв дымом и тонкой пылью холодное ноябрьское небо. Внезапно на шоссе появились мчавшиеся во весь свой пьяный дух немецкие мотоциклисты. Они подпрыгивали на кожаных седлах, нажимали на сигналы, вопили вразброд и палили во все стороны наобум Лазаря, как определил с чердака дядя Устин. Увидев перед собой стальные рогатки-ежи, закрывшие шоссе, мотоциклисты круто свернули в сторону и, не разбирая дороги, почти не сбавляя скорости, помчались по обочине, скатываясь в канаву и с ходу выбираясь из нее. Едва они поровнялись с косогором, на котором стояла избушка дяди Устина, как сверху под колеса мотоцикла покатались тяжелые бревна, сосновые кругляши. Это дядя Устин незаметно подполз к самому краю обрыва и столкнул вниз припасенные здесь со вчерашнего дня большие стволы сосен. Не успев притормозить, мотоциклисты на полном ходу наскочили на бревна. Они кубарем летели через них, а задние, не в силах остановиться, наезжали на упавших... Бойцы из села открыли огонь из пулеметов. Немцы расползались, как раки, вываленные на кухонный стол из базарной кошелки. Изба

дяди Устина тоже не молчала. Среди сухих винтовочных выстрелов можно было расслышать кряжистый дребезг его старой берданки.

Бросив в канаве своих раненых и убитых, немецкие мотоциклисты, с разбега вскочив на круто завернутые машины, помчались назад. Не прошло и пятнадцати минут, как послышалось глухое и тяжелое урчание и, всползая на холмы, торопливо переваливаясь в ложбины, стреляя на ходу, к шоссе ринулись немецкие танки.

До позднего вечера длился бой. Пять раз пытались немцы пробиться на шоссе. Но справа, из лесу, каждый раз выскакивали наши танки, а слева, там, где над шоссе нависал косогор, подступы к дороге охраняли противотанковые орудия, подтянутые сюда командиром части. И десятки бутылок с жидким пламенем сыпались на пытавшиеся проскочить танки с чердака маленькой полуразрушенной будки, на скворечне которой, простреленной в трех местах, продолжал развеваться детский красный флажок. «Да здравствует Первое Мая» — было написано белой клеевой краской на флажке. Может быть, это было и не ко времени, но другого знамени у дяди Устина не нашлось.

...Так яростно отбивалась избушка дяди Устина. Столько покареженных танков, облитых пламенем, свалилось уже в ближний ров, что немцам показалось, будто тут кроется какой-то очень важный узел нашей

обороны. И они подняли в воздух больше десятка тяжелых бомбардировщиков.

...Когда дядю Устина, оглушенного и ушибленного, вытащили из-под бревен и он открыл, еще слабо разумея, свои глаза, бомбардировщики были уже отогнаны нашими «Мигами», атака танков отбита, а командир части, стоя неподалеку от разваленной избы, что-то строго говорил двоим испуганно озиравшимся парням; хотя одежда их еще дымилась, оба выглядели продрогшими.

— Имя, фамилия? — спросил сурово командир.

— Карл Швибер, — ответил первый немец.

— Августин Рихард, — ответил второй.

И тогда дядя Устин поднялся с земли и, пошатываясь, подошел к пленным.

— Вон ты какой! Фон-барон, Августин! А я всего только Устин, — проговорил он и покрутил головой, с которой медленно и вязко капала кровь. — Я тебя в гости не звал: навязался ты, пес, на мое разорение.. Ну, хоть тебя и с надбавкой кличут: «Августин», — а выходит-то, мимо Устина не проскочил. Зацепился-таки чекушкой.

После перевязки дядю Устина, как он ни сопротивлялся, отправили на санитарной машине в Москву. Но утром неугомонный старик ушел из госпиталя и отправился на квартиру к своему сыну. Сын был на работе, снохи тоже не оказались дома. Дядя Устин решил дожидаться прихода своих. Он придирчиво ог-

лядел лестницу. Всюду были приготовлены мешки с песком, ящики, багры, бочки с водой. На дверях напротив, около таблички с надписью «Доктор медицины В. Н. Коробовский», была приколото бумажка: «Приема нет, доктор на фронте».

— Ну, что ж,— сказал сам себе дядя Устин, присаживаясь на ступеньки,— стало быть, закрепимся на этой позиции. Воевать вездé не поздно. Дом-то будет покрепше моей землянки. В случае чего, если сюды полезут, тут можно таких им делов наделать... Полное «адью» сообразим всякому Августину...

ПРИДЕТ СРОК...

— Итак, значит, вам с какого конца ни считай, двенадцать лет,— сказал начальник, тшечно пытаясь нахмуриться, хотя его разбирало желание потррмощить ребят,— год рождения, следовательно, 1929. Очень хорошо. И фамилия одного из вас Курохтин, звать Юрий. Так?

— Так,— отвечал, глядя в пол, коренастый мальчик в низко нахлобученном на брови заячьем малахайчике и с самодельным рюкзаком на плечах.

— А вот, следовательно, будет Шгырь Женя? Не ошибся?

Ответа не последовало. На начальника печально смотрели большие серые глаза, ресницы которых спалились от слез. Отнекиваться было бесполезно.

Их задержали наднях у одной из подмосковных станций. Москва была уже совсем близко. Прошел бы час—полтора, не больше—и из-за горизонта поднялись бы трубы, крыши, шпилы, вышки и звезды столицы.

Юрик Курохтин хорошо знал Москву. Здесь он ро-

дился. Здесь, на Покровском бульваре, в одном из переулочков, он впервые пошел в школу и сейчас был уже четырехклассником. Но теперь он учился не в Москве. В начале войны он вместе с матерью уехал в далекий сибирский город, где и познакомился с Женей. Теперь они уехали оттуда тайком. Все это придумал Юрик. Он уговорил Женю отправиться вместе с ним, чтобы участвовать в сражениях под Москвой и защищать столицу от фашистов. Они ехали без билетов, их то и дело высаживали, они снова пролезали в вагон, прятались.

И всю дорогу Юрий пропотом рассказывал Жене про Москву. Он рассказывал, как отец взял его однажды 7 ноября на Красную площадь и с белокаменных гостевых трибун он хорошо видел парад Красной Армии и праздничное шествие трудовой Москвы. И потом отец поднял его на руки, и он увидел Сталина, который стоял наверху мавзолея, облокотившись на гранитный барьер, и дружелюбно махал рукой шагавшим мимо него сотням тысяч людей. О своем чудесном городе, о Москве своей, всю дорогу шептал маленький москвич Юрий Курохтин Жене Штырь. И нередко глазами Жени встал огромный многолюдный город, никогда невиданный Женей на яву, но не раз посбывавший в женинных снах и мечтах. И давно уже стали знакомыми и родными для Жени островерхие башни Кремля, и кудрявая зелень парков, и огромный зоопарк с дикими зверями, и планетарий с его руч-

ными звездами, и матовая гладь асфальтированных улиц, и бегущие лестницы метро, и свежесть волжских струй, вливавшихся в город, и московские люди, торопливые и деловые, но радушные и приветливые, горячо любящие свой великий город.

А теперь фашисты что было сил лезли на Москву. Юрий похудел от тревоги за свой город. Тревога вскоре захватила и Женю. И они решили отправиться на защиту столицы. Их задержали уже недалеко от Москвы по телеграммам, которые были посланы родителями вдогонку беглецам. Теперь они стояли в кабинете военного коменданта вокзала.

— А чего же вы все-таки приехали? — допытывался начальник и никак не мог справиться со своими бровями, которые ни за что не хотели хмуриться.

— Мы ехали на подкрепление... — отвечал Юрий Курохтин и решительно добавил: — Чтобы преградить Гитлеру дорогу к Москве.

Начальник стал серьезным и строгим.

— Ну, а ты, мальчик? — обратился он к Жене.

— Я не мальчик совсем. Я совсем сестра...

Начальник изумился:

— Чья сестра?

— Ничья... Просто медицинская... Для раненых.

— Стой, стоп, стоп, — пробормотал начальник, беря со стола телеграмму. — Тут ясно указано: «Двое детей — школьников двенадцати лет. Юрий Курохтин и Женя Штырь». А ты говоришь — сестра.

Юрик пришел на помощь Жене:

— Она девочка, только замаскировалась под мальчика, чтобы ее в Красную Армию взяли, а потом бы она все сказала и стала бы сестрой. А я хотел пулеметчикам патроны подносить.

Начальник встал и внимательно посмотрел на обоих.

— Эх, торопыги! — сказал он. — Не дело вы затеяли. Для вас еще придет срок. А сейчас езжайте-ка домой и бросьте эти штуки. Вот вы считаете, верно, себя большими героями, из дома удрали, школу бросили. А ведь, если говорить с вами по-военному, то вы просто нарушители порядка. Куда же это годится? Какая же это дисциплина?

Начальник замолчал. Он оглядел всех, кто был в кабинете. Подняли голову и ребята. Строгие военные люди стояли вокруг них.

А потом ребят усадили в вагон поезда, который шел из Москвы, и поручили их попечению пожилой проводницы. И ребята поехали обратно.

— Ничего,— утешала неудачливых беглецов проводница,— и без вас там справятся. Вон, гляди, какая сила на подмогу идет.

Поезд остановился у разъезда. Проводница взяла флажок и вышла. Юрик и Женя, спрыгнув с полки, подбежали к окну. Навстречу, к Москве, шел воинский эшелон. Поезд долго стоял на разъезде, пропуская состав за составом. И все шли и шли к Москве воинские составы, длинные поезда, на платформах

которых ехало что-то тяжелое, покрытое брезентом, а на подножках стояли бойцы охраны, запахнувшись в теплые косматые тулупы, с винтовками в руках. Потом поезд пошел дальше. И сколько ни шел он — день, два, три, неделю, — друзья наши видели везде людей в шлемах, в теплых шапках с красными звездами. Их было очень много. Тысячи, а может быть и миллионы. Уже хорошо сладившимися голосами они пели песню о великом победном походе, срок которому скоро придет.

ЗА СИНИМИ ШТОРАМИ

Капитан приехал с фронта. У него была командировка на два дня в Москву. Он не был в столице с первых дней войны. И теперь, бродя по городу, жадно, заботливо и тревожно оглядывал улицы, старался найти следы бомбежек, радовался, что их так мало, приглядывался к людям, останавливался перед знакомыми домами, которые приобрели сегодня суровый вид военной крепости.

Мы гуляли с ним до ночи. Нас было трое. Капитан, женщина, которую он любил, и я. Уже темнело. И в вечерней синеве улиц ярко перемигивались зеленые, желтые, красные глаза светофоров.

— Нет, какая молодчина Москва наша! — с нежностью повторял капитан. — Смотри, обложилась песочными мешками, заделала окна, закрылась синими шторами, а сама живет, как подобает. Смотри... Правда, эти мешки напоминают бастионы, помнишь, у нас в учебнике истории картинка такая была: оборона Севастополя? Здорово! И народ веселый. Я хожу, в лица

заглядываю, в глаза смотрю, хорошие глаза, уверенные. Эх, товарищи родные! Вы даже не представляете себе, как мы там на фронте каждую весточку о Москве ловим. Открытым ртом ловим, как воздух, честное слово! Эх, если бы вы знали только, как там человек за Москву сердцем горит! Все, что угодно, там вытерпим, на фронте, лишь бы стояла попрежнему Москва.

Мы остановились у одного из драгоценнейших зданий Москвы. Место это знает весь мир. Мешки с песком и плотные деревянные чехлы закрывали это сооружение. И капитан, взяв в ладонь руку своей спутницы, сказал вдруг тихо и задумчиво:

— Это правильно, Таня, вот это очень правильно, что Москву так бережем, бережем все, что дорого нам. Вот надо и сердца наши, и дружбу, и любовь нашу сейчас так оберегать. Жестокое время, трудная пора. Я человек военный, ты знаешь... Я свое сердце сейчас наглухо закрыл, живу ненавистью одной, ненавижу, до судороги в руке ненавижу, когда наган вынимаю в бою. И вот еще любовью этой живу, любовью ко всему, за что воюем. Для всего другого сердце сейчас закрыто. Понимаешь, Таня? Но, вот там, как за мешками с песком, мы сохраним все самое нежное, что надо беречь. Погоди, Танюша, будет еще, непременно будет вечер, когда раскидаем мы все эти мешки, доски разошьем, синие шторы сдерем, чтоб свет был на улицах и в каждой комнате, чтоб «в сто сорок солнц», как говорится, победа сияла. Но пока...

Жесткие складки прошли по его доброму лицу.

Загорелый и обветренный, с фронтowymi нашивками защитного цвета на воротнике, он стоял на московской площади и бережно жал руку подруги. И вокруг него, вокруг нас, суровая и синяя, как маскировочная штора, опускалась военная московская ночь.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
Московские записи	3
Москва 22 июня	4
Дни войны	9
Страна своя	14
Во дворе	16
Памятка	17
Война и мир	18
Расписка	20
Гигиеническая обувь	22
Братец Еж	23
Профессор	24
Три фябзайца	26
Четверо из них	29
Часовщик	36
Отмщение	40
Срочный разговор	45
Тот самый	49
Культурненько	52
	95

Во весь голос	55
Письмо кровника	59
Сын тети Паши	66
Ромео на посту	69
Московские афиши	73
Дно и крышка	75
Наглядное пособие	78
Устин и Августин	80
Придет срок	87
За синими шторами	92
